

Станислав Золотцев

«Зажги вьюгу!»

**Очерк о жизни и творчестве поэта
Игоря Григорьева**

**Псков
2007**

83.3(2Рос-4Пск)6

Золотцев С.А.

ЗАЖГИ ВЬЮГУ. Очерк о жизни и творчестве поэта Игоря ГРИГОРЬЕВА. - Псков: Издательство АНО «Логос», 2007 г. - 84 с.

ISBN 978-5-93066-054-8

© С.А. Золотцев, 2007 г.

1.
РУССКИЙ УРОК





*А по земле прошёл Поэт,
Перекрестив, оставил землю.
Оставил Боль и долгий Свет,
И я стихам, как птицам, внемлю.*

Эти строки сказаны Поэтом о Поэте. О замечательном и самобытнейшем Русском Поэте, с чьим творчеством и с чьею судьбой я хочу вас познакомить в к р а т ц е . Замечу, что строки эти принадлежат тому, кто был Поэту самым близким человеком. Иначе они и не явились бы на свет... Написал это - и сразу подумалось: но ведь б л и з к и м и , действительно и по-настоящему близкими людьми для него были все, кто не просто звал, но ощущал себя р у с с к и м и людьми. Принадлежащими к крупнейшему славянскому народу и его стране, его земле, его духу (и не столь уж важно Поэту было, как они относились к его творчеству и к стихам вообще), а не к тому или иному государственному «режиму», политической «линии» и прочим временным делам. Близкими ему с юных лет, отданных битвам с иноземным фашистским нашествием, были те, кто не страшась ничего, ни начальственного окрика, ни вражеской кары, ни даже смерти самой, готов был отдать и все силы свои, а если надо, то и жизнь - за землю русскую, за русский народ, во славу их или ради их достойного бытия. Все прочие были ему, Поэту и Воину, не близкими. По крайней мере, не своими, не родными. Да, так жестко и так резко он жил. Так он и творил свою поэзию...

Понимаю: сказанное выше может показаться читателю, особенно молодому, патетическими, выпренными словами. А к таким, к высоким словам, нынче у людей мало доверия:

слишком обесценилось такое слово от частого употребления в недавние годы. Всё так ... Но - я многие годы знал этого поэта, он со временем стал и до последних дней своей жизни оставался мне верным, добрым и строгим старшим другом, и потому мне, как мало кому, очевидно: о нём невозможно говорить «с температурой 36,6». Он сам не боялся никаких слов, ни самых простых и даже грубоватых, ни самых пронзительно-высоких: все его слова были им выстраданы. Он оплатил их своей судьбой - и своей кровью. Так говорил он и в самых ранних своих стихах, написанных между партизанскими боями, когда решалась судьба страны, когда в души многих русских людей вкрадывалось сомнение - победим ли?

*И полдни черны и косматы,
И горького горше - дымы.
Отчизна, твои ль это хаты?
И, может, не русские мы?
... Бежали без ружей солдаты,
Как тени, ползли старики...
Куда ты, Россия? Куда ты?
Хоть слово надежды реки!*

Но юный поэт-воин сам изрекал это слово надежды, слово решимости к смертельной битве:

*Мы внемлем. Мы жить не устали,
Но грозно на крестной стезе
Мы стиснули души, мы встали -
Живые и мёртвые - все.*

И через многие годы после великого сражения с вражеским нашествием он хранил в себе эту решимость, эту волю - эту огненную память:

*Доныне свинец чужеземца-солдата
Покою спине не даёт;
И тяжкий валун над могилою брата
Сжимает дыханье моё.
Нет! я ничего не забыл, хоть и рад бы
О многом, что знаю, не знать.
И жжёт мою душу огонь нашей клятвы,
И сердце попробуй унять!*

Его сердце никогда не унималось, не успокаивалось. И тогда, когда в жизни страны наступило время относительной стабильности, то, которое позже нарекут «застоем», что не совсем точно: народ жил и трудился, в рост шло очень многое и в экономике, и в науке, и в культуре, - в застое действительно находилась часть верховной и средней бюрократии, многие представители коей позже стали ведущими «демократами-перестройщиками»; она-то и вгоняла общественную жизнь и моральный климат в некую сытую (верней, полусытую) сонливость, в равнодушие к бедам и горестям ближних и дальних - и своей родной страны, - Поэт не принял эту «стабильность» всем своим горячим сердцем.

*А я не верю, я не верю,
Что всё на свете - всё равно.*

- Так с болью за бытие родной земли и за души сограждан писал он тогда. И много ещё тревог пророчески выразил он в строках той поры - и сбылись его горестные предчувствия! И, в противовес тем, кто уже тогда, и «на кухнях», и в печати начинал швырять камушки в Отечество - дескать, «мне недодали», - Поэт утверждал:

*Нас в люди выводила Русь
Всею строгостью земли и неба;*

*Пусть хлеб её был чёрным, пусть,
Но никогда он горьким не был...*

И, когда с Отчизной и народом вновь произошёл гигантски-кошмарный катаклизм, длящийся и по сей день, когда «перестройка» перешла в «катастрофу», когда в развалинах оказалась та Держава, за которую Поэт сражался с фашистской агрессией, та многонациональная страна, что звалась Советским Союзом, но для всех в мире она-то и являлась Россией, когда почти в мгновение ока огромное народное множество оказалось обездоленным, ограбленным и разорённым, - он, в самую последнюю зиму своей жизни (оттепельно-гнилую, столь не схожую с той лютой, когда я пишу этот очерк), не впадая в отчаяние, но по-русски отчаянно воскликнул, обращаясь к отческой земле:

*Заплакали берёзы:
«Зима нас подвела:
Крещенские морозы -
Три градуса тепла».
Захлодело сердце -
В ретивом перебой:
Любовью не согреться.
- Россия, что с тобой?*

...Так и всегда получалось у него в творчестве (как, впрочем, и у каждого настоящего русского художника Слова): судьба Отчизны, нации, государства неотъемлема была в его душе и сознании от судьбы земли. В самом буквальном смысле - земли, почвы нашей северо-западной, супеси, суглинка, подзола, прорезанных слоями девонского плитняка (из которого в нашем краю сложены и крепостные стены, и стены крестьянских дворов). Ибо Поэт был сыном этой

земли, почвы, природы, н а т у р ы: и его натура - по крайней мере, для тех, кто хорошо и близко знал его - словно бы выростала из почвы, из нашей природы, суровых и даже неласковых порою на первый взгляд - но столь щедрых на добрые свои плоды...

Поэт был сыном псковского села.

Он родился 17 августа 1923 года в деревне Ситовичи Порховского уезда Псковской губернии. Ушёл из жизни 16 января 1996 года.

Его звали Игорь Николаевич Григорьев.

Стихи, которыми открылся мой очерк, написаны были подвижницей отечественной культуры, историком-искусствоведом Еленой Николаевной Морозкиной. Она спасла ещё в советское время не одну жемчужину древнерусского церковного зодчества. Но была она и настоящим русским поэтом - под стать тому, чьей женой ей выпало стать в последние 20 лет его жизни. И не будет преувеличением сказать, что среди спасённых ею ценностей нашей духовности была и жизнь её мужа, Игоря Григорьева. По крайней мере, можно сказать: он не прожил бы этих двух десятилетий, не будь с ним рядом она, Елена Николаевна, также, как и он, бывшая воином Великой Отечественной войны, «пушкаркой», рядовым в женском артиллерийском подразделении... «Оставайся там, где был,/ Оставайся тем, что есть./ Сократи свой скорбный пыл,/ Сбереги, свой ум и честь», - вот одно из женски-мудрых увещеваний, с которыми она обращалась к своему любимому другу, и в пожилом возрасте остававшемуся с по-юношески максималистским характером, не мирившемся даже с мельчайшей подлостью, не прием-

лющим компромиссов с непорядочными людьми... Поэтому правильно будет сейчас обратиться прежде всего к её, Елены Морозкиной (1922-1999) строкам воспоминаний об Игоре Григорьеве, - их даже невозможно назвать книжным словом «мемуары», это страстный и живой набросок портрета, который она не успела завершить, однако и то, что ею написано, даёт «огнепальное» впечатление:

«Игорь Григорьев-уникум, поэт Божьей милостью. Это прежде всего и на все времена. Стихи его останутся жить с нами, в них - его душа.

И вместе с тем Игорь - подпольщик (а ему было 18 лет), Игорь - партизан. А после войны Игорь - охотник, Игорь - каменщик. Игорь - фотограф (в том числе - участник археологической экспедиции в Забайкалье). Игорь-студент филфака Ленинградского университета, который он окончил. (А чтобы зарабатывать, позировал в Академии художеств - недаром он был красив). Игорь-создатель Псковской писательской организации и её руководитель в течение многих лет.

Игорь Григорьев-...глубинный талант, глубинно-чистая душа, предельно искренняя, неспособная лгать. Предельно (или даже запредельно) самоотверженная. Даже незнакомому человеку он мог отдать последнее. Вспоминается такой случай. Женщина, лишившаяся на войне рук, строила для себя дом, но ей не хватило денег на кровлю. Она попросила помощи через газету. Игорь Николаевич получил пенсию и послал ей деньги. Кровлю возвели, но её сорвало вихрем. Игорь Николаевич послал ей ещё. В прошлом году эта женщина, выступая по радио, сказала, что Игорь помог ей «из своих сбережений». Никаких сбережений у него не было. Он отдал последнее.

Любовь к Родине была для него главным в жизни, а стихи - его сутью и сутью выражения этой любви... Подпольщик, партизан, он был весь изранен, изрезан хирургами. Больницы. Больницы. Больницы... До конца дней к нему приходили письма с обращением «товарищ командир!» Он был инвалидом Великой Отечественной войны». («Псковская правда», 28 октября 1998 года).

Здесь - своего рода «штрих-пунктир» жизни и творчества Игоря Григорьева. Поэтому далее мы и пойдём по линиям этого штрих-пунктира, начертанного самым близким Поэту человеком. Будем приводить воспоминания о нём, написанные людьми, которые знали его со времен его юности. Но вначале - слово самому Поэту. Говорю же вам: мне, знавшему его с моих юных и с его молодых лет совершенно невозможно отделять его жизнь, его биографию, его человеческую судьбу от его поэзии. Это - две взаимопорождающие стихии - как в судьбе любого русского художника слова; вот он, в самые что ни на есть «стабильные» времена говорит землякам и согражданам самые тревожные слова, задаёт им самые горькие, неудобные и вроде бы неуместные по времени вопросы. Он по-прежнему говорит с ними как воин, как партизан:

*Стокровьем закат пересия,
Победу над ночью зажгла,
Россия, Россия, Россия,
А если бы кровь изошла?
А если б разверстая бездна
Пронзила заволжский песок?
Тебе-то, вещунья, известно,
Как в даль твою впился б Восток.*

Но эти слова - ещё более или менее привычные для литературы 60-х, хотя и очень тревожные; однако вот строки, для нас ставшие самыми актуальными сегодня::

*Нельзя повторить Нагасаки,
Зане ноне порох не тот.
Авось перебьёмся: без драки?..
А если «Авось» не спасёт?...*

Не спасло... и сегодня мы претерпеваем трагедию нашей страны без всякого «авось», мы все сегодня встретили великое новое бедствие державы. И во многом так произошло потому, что власть имущие в ней предпочитали не прислушиваться к тревожным и острым предупреждениям лучших и правдивых поэтов, но слушали сладко-велеречивые успокоительные голоса льстецов из так называемой придворной оппозиции. Псковский поэт никогда не принадлежал к последним. Ибо он был истым сыном земли, речью которой всегда был только правда. Жгучий Глагол...

Он всегда понимал и знал, что жизнь сложна, многослойна и неоднозначна. Уже на склоне лет он так говорил об этом в одном из своих интервью:

«...Отец мой четыре Георгиевских креста получил в царской армии, дослужился до штабс-капитана, был любимцем генерала Брусилова - а в Восемнадцатом году стал начальником Порховской ЧК...

Я по-немецки читать и писать научился раньше, чем по-русски. Учила меня немка, которая жила в нашем хуторе. И в подполье нашем, кстати сказать, один паренек тоже был немец. Так что я против того, чтобы из-за национальности ярлыки клеить» («Псковская правда», 14.05.92 года).

...Это знание немецкой речи сыграло не только в боевой биографии, но и в послевоенной жизни Игоря Григорьева серьезную, можно сказать - роковую - роль. Первоначально он со своими сверстниками, оставшимися в тылу врага (Псковщина была захвачена фашистами столь стремительно, что лишь немногие юноши и мужчины призывных возрастов успели стать красноармейцами) организовал самостоятельную, сугубо молодежную группу для борьбы с врагом. Но позже он получил задание подполья - согласиться на предложение оккупантов работать переводчиком в комендатуре. «Служба» эта длилась недолго: над пареньком нависла угроза разоблачения, и он вместе с несколькими юными товарищами вынужден был бежать в лесную глухомань, где уже стал настоящим партизаном... Однако прошли многие годы, даже десятилетия - многих свидетелей народного мщения не стало в живых, а в немногих уцелевших архивах их отрядов царила неразбериха. Тогда-то и родилась, и поползла среди псковичей грязная клевета: дескать, служил Григорьев у немцев по доброй воле. Он и не думал оправдываться, знал - к тому времени его поэзия уже говорила сама за себя - как правда Времени. Лишь в нескольких его строках прорывались болевые ноты, например, вот эта: «Я Родине своей не изменял...» Ноте, кто знал его и как поэта, и как человека, верили в его воинскую честь, даже и не будучи знакомыми с такими его (долго лишь в черновиках остающимися) откровениями. Ибо все в его книгах было сутью и статью воина.

Вот и автор этого очерка впервые увидел и запомнил его именно таким - воином всей сутью и статью.

Это произошло в один из самых памятных дней моей ранней юности (или еще позднего отрочества?), в конце мая 1960 года. То было в одном из не только живописнейших, но и самых исторических мест нашей Псковщины: там, где красивейшая - а в те поры еще почти девственно-прекрасная - лесная речка Череха впадает в главную реку нашего края, в Великую. Близ ее устья когда-то, 23 февраля 1918 года, под Псковом, красногвардейский отряд и принял первый бой с наступавшими на древний город кайзеровскими войсками. Тот день с тех пор и считается датой рождения Красной Армии. Множество славных и героических людей стали тогда гостями слета юных псковичей, где одних из нас принимали в пионеры, других - в комсомол. Мне запомнился и седовласый генерал Черепанов, командовавший теми красноармейцами, и его соратники, и гордость наших горожан, бывшая в том бою 16-летней гимназисткой-пулеметчицей, но уже управлявшаяся с оружием мастерски - Ангелина Золоцевская (вскоре воспетая тогда еще молодым журналистом Василием Песковым в его очерке «Псковитянка»)... И так органично с разгоравшимся, еще синеватым белоночьем сливался наш многоголосый хор - «Взвейтесь кострами, синие ночи!» - ведь и костры огромные пылали, и сам автор этой песни, Кайдан-Дешкин, композитор из Великих Лук, прибыл на наш слёт... Было чему запомниться!

Но меня, уже «баловавшегося» стихами, естественно тянуло к тому костру, где звучали строки поэзии. Там тоже увидел я ряд людей, уже считавшихся живыми псковскими, а то и питерско-московскими легендами... Однако буквально сразу же мои глаза были прикованы одним лицом - да нет, скорее ликом: сей лик и впрямь словно с иконы со-

шел. То был облик, с одной стороны, принадлежащий типичному псковскому крестьянину - из той нашей глубинки, которой в давние столетия не коснулись никакие восточные нашествия. Прямой, крупный, «скобарско-чудской нос», темновато-русые с легким «льняным» отливом и очень густые волосы, - они у него до последних дней такими оставались, не редели, и седина их, казалось, почти не трогала... А с другой - это лицо отличалось столь резкой неповторимостью, что в любом многолюдье таких же наших земляков из глубинки он сразу же выделялся. Уже значительно позже я понял: выделяла его жесткая печать перенесенных болей и страданий. Она виделась во всем - и в глубоких морщинах впалых щек, и в суровом взоре донельзя - ну, поверьте, просто невероятно синих глаз. Их синева сияла даже ночью... Словом, этот воин - а он никем иным не мог выглядеть в своей гимнастерке, хоть и без погон, но с орденом и медалями - так поразил мое воображение, что даже его младший товарищ по поэзии и по партизанским боям Лев Маляков, смотревшийся в те годы истинным Лелем, не столь поразил мое воображение своим обликом...

Игорь Николаевич читал нам тогда не одно и не два-три свои стихотворения. Но у меня в памяти от того позднего вечера осталось лишь одно: «Великая». Быть может потому, что «натура» - широкая водная гладь - поблескивала и поплескивала рядом. А, может, так мне запомнилось потому, что его книга «Родимые дали», вышедшая в том же 1960-м году и тогда же мною прочитанная, этим стихотворением о моей реке детства открывалась. Вот и вправду: первое впечатление - самое сильное. Многие вещи моего старшего товарища по перу кажутся мне художественно более

мощными и весомыми, но его главным «поэтическим паспортом» осталась именно «Великая». Лишь несколько строк приведу здесь из нее - тех, что наиболее живо передают звучание его голоса, его боевой судьбы:

*К тебе придет рассеянный турист,
Взберется на карниз известняка,
Посмотрит равнодушно сверху вниз,
Холмистые окинет берега,
Пожмет плечами: «Ты невелика,
Хвалена Великая река»
А я с воспоминанием вдвоем
На берегу твоём стою без слов.
Не нагляжусь на чистый оком,
На стену поседелых плитняков,
На псковских синеглазых мужиков.
Не надышусь лучистым холодком.
...Не кто-нибудь другой, а ты меня
Избавила от лютого огня
В пылающем сорок втором году,
Когда отряд наш угодил в беду,
И пасть свою сомкнула западня.
Гзрела гимнастерка у меня.
Горел в груди свинец:
«Конец... конец...»
И задыхался я, судьбу кляня.
Не кто-нибудь другой, а ты
Мне пламя залила
И остудила кровь живой водой.
И от карателей пригорком заслоня,
Скрывала в камышах до темноты.
Что было бы со мной, когда б не ты..*

...И, о чем и о ком бы ни писал автор «Великой» - два главных мотива, две стихии всегда звучали (и звучат!) в его книгах: родная псковская земля - и война. Псковщина, опаленная войной. Война, сгубившая столько прекрасных земляков... Даже когда говорил о красоте родной сельщины - пламя пожарища пылало в глуби этих лирическо-пейзажных строк... Вот характерная черта его творческой природы: он почти никогда не писал не только так называемых «путевых» произведений - на страницах его книг мы почти не встретим упоминаний о тех краях и городах, где ему довелось не просто бывать, но и жить подолгу. Это роднит его с наиболее глубоко русскими поэтами. Да, у Есенина отразилась в стихах Москва, звучали и «Персидские мотивы» - но ведь не этими творениями он прежде всего запечатлен в нашем отечественном сознании. Так и Николай Рубцов не стал ни «маринистом», ни певцом Северной Пальмиры... «Я поэт потому, что у меня Родина есть» - это Игорь Григорьев мог бы сказать (и говорил) о себе с полным правом: родной край не был для него «малой родиной», только - с большой буквы.

Но точно так же, читая его книги лишь очень чутким сердцем, можно ощутить, что они написаны человеком, перенесшим невероятную уйму физических и моральных страданий. Поэт-партизан Лев Иванович Маляков, познакомившийся со своим старшим другом еще в партизанском отряде, учился с ним вместе и на филфаке Ленинградского университета в первые послевоенные годы. Он оставил немало воспоминаний о Григорьеве (которые еще ждут своей публикации), столь же колоритных, сколь и тяжеловатых для восприятия: ведь речь идет в них о лютых муках инвалида,

которому приходилось «для поддержания штанов», да и ради прокорма семьи (Игорь в городе на Неве уже обзавелся первой - и, прямо скажем, не последней семьей), заниматься таким приработком, что и не каждому здоровяку было под силу; вот что, в частности он вспоминал:

«Тяжелая работа спровоцировала выпадение диска в позвоночнике. С адскими болями он лежал в постели и все равно писал. Тайком от его жены я приносил «маленькую», чтобы приглушить боль. Помогало, но ненадолго. Как инвалида войны Игоря положили в Военно-медицинскую академию. Сделали операцию, но неудачно. Через несколько лет операцию пришлось повторить. К перемене погоды донимали сильные боли. Приходилось спасаться наркотическими средствами, которые ему выписывали врачи. Когда наркотиков не было (вспомним, что шло самое начало 50-х - что представляла из себя тогда наркология «для простых людей»? - С.З.), переходил на водку. Потом мучительно выходил из болезни, в рот не брал по несколько лет. Помогали выйти из «транса», как называл он свое состояние, все те же стихи. Поэзия была его звездой».

Трудно сегодня представить, чтобы человеку столь трудном, болезненном состоянии в те же самые времена мог бы создавать строки, которые иначе как жизнеутверждающими - а нередко и щедрым юмором пронизанными - называть нельзя; вот такие, к примеру:

*Я иду через покосы
Прямиком.
Я иду, простоволосый,
Далеко.
А вокруг меня давнишняя*

*Родня:
Бусы свешивает вишенья
С плетня.
Над колодцем - долговязый
Журавель.
При дороге дремлют вязы,
Дремлет хмель.
Утро искры горстью мечет
На пруду...
Ничего, что мне далече,
- Я иду!*

И он шел - к своим друзьям-товарищам, прежде всего ленинградским, и он был душой их компании в те действительно непростые для страны и для ее общественно-идеологической обстановки годы. И тут стоит упомянуть хотя бы несколько из имен тех его товарищей, которые собирались у него в девятиметровой (9-метровой!) комнате коммуналки как вокруг магнитно-притягательного, теплого духовного очага. Это были и фронтовики, и те, что юношами пережили блокаду. Его гостями-приятелями и сотрапезниками становились тогда еще совсем начинающие Федор Абрамов, Глеб Горышин, Владислав Шошин (ставший потом его постоянным исследователем), наш земляк Александр Решетов... Мне в мои студенческие 60-годы посчастливилось - да и позже - знать их, и могу свидетельствовать: не такие то были люди, чтоб собираться вокруг болезно-хмурого человека. Он в их глазах был кремень-парень, искрометный, хотя порой и непредсказуемый... «Дажетрагические истории он подавал с юмором, на что был большим мастером. В любой компании Игорь всегда был большим мастером ока-

зывать в центре внимания», - так вспоминают о нем его тогдашние питерские товарищи-коллеги... И в грустную минуту он мог совершенно «в порядке импровизации» выплеснуть такое откровение, от коего всем становилось легче на душе:

*Рыжеглазый, хмельный, рослый,
Долгожданный грянет праздник:
Дождь пролился, слезы, росы -
Все проветрит, все разъяснит.*

...Словом, при всей своей невероятной мужской цельности он, наш пскович из Ситович, наш плюссский партизан, наш балагур и весельчак порой (даже сам для себя неожиданно) мог поворачиваться к людям самыми разными гранями своей натуры. Здесь уместно будет сказать, что невероятное его обаяние не всегда сослуживало ему добрую службу - как в писательской судьбе, так и - не в меньшей мере - в его лично-семейной мужской жизни. Что и говорить: такого мужчину не могли не любить многие женщины. А он, влюбчивый, не считал честным и возможным скрывать в своих стихах как свои самые сильные чувства, так и свои мимолетные эмоции, вызываемые у него юными и зрелыми женщинами. И не каждой из этих избранниц такие его излияния были по душе. Так, глубокий и серьезный разлад произошел у него с одной из них именно потому, что многие годы он писал стихи, обращенные к памяти его землячки-партизанки Любви Смуровой. Но могло ли быть иначе, если эта хрупкая девушка, арестованная карателями, пошла на смерть, но не выдала своего друга.... А после войны многое в отношениях мужчин и женщин измерялось уже на других весах.

А потому я считаю здесь должным привести несколько строк, написанных одной из тех, которую он всерьез - не по паспорту - звал своей женой в 60-е годы, и много сделал для ее творческого восхождения, поэтессой Светланой Молевой; это - из ее работы, обращенной к памяти старшего друга:

«Сколько бы теперь ни написали о нем, нам и всем миром не собрать малой доли стремительного, яркого, разрываемого противоречиями образа. Скорее всего, не удастся даже последовательно выстроить биографию, разбросанную по всей стране».

...К слову сказать, я такой задачи перед собой в этой работе и не ставлю. Ведь пишу всего лишь небольшой очерк о жизни и творчестве большого русского поэта. Думается, действительно, «большое видится на расстоянии». Игорь Григорьев заслуживает серьезного и фундаментального исследования, как, впрочем и целый ряд поэтов Псковщины и всей России, недавно ушедших. Верю: такое время придет. Я же хочу в этом очерке выделить главное, заключенное в заглавии одной из самых его главных книг. Она называется по его центральной поэме - «Русский урок». Вся творческая судьба его была и остается для нас Русским Уроком...

А все же родной край - и в том тоже состояла для Поэта главная часть его Русского Урока - манил к себе отовсюду, из Питера, из Сибири - не только памятью о войне, но м и р о м своим. Миром - во всех смыслах этого древнерусского слова. И эпическим спокойствием зеленей, пажитей, боров, перелесков, где уже затягивались окопы и траншеи, и мирным созидательным трудом псковской сельщи-

ны. Р а д о с т ь полнокровного бытия он, как истый сын деревни, мог испытывать лишь в стихии с детства близкой ему природы. Об этом в каждой из его книг есть стихи, исполненные просто возрожденческим ощущением красоты:

*В деревне сейчас полонила поляны
Такая большая трава!
На зорях гривастые бродят туманы
Да плещется синь-синева.
А день ничего себе:
Точен и прочен,
Всему свой и срок и черед.
Здесь даже осиновый тын у обочин
Что может от жизни берет.
Бездонное небо звенит и ликует
От крыш невысоких до звезд.
И, годы суля мне, кукушка кукует,
И мир удивительно прост!*

Но это - отнюдь не простота примитива, а простота тысячезвучья и тысячецветья - тысячелетья! Игорь Николаевич, можно сказать, обладал в этом плане ястребиным зрением, но то было зрение души, зрение сердца, взор природы пахаря и охотника... Тут опять придется сослаться на воспоминания самых близких ему людей. (Хотя, как мне видится, стихи его говорят сами за себя...) Вот красноречивые воспоминания Е. Морозкиной:

«Без родной природы Игорь Григорьев не мог. Он знал ее таинства, подобные чудесам. Он был страстный рыбак. Это было для него таинство слияния с природой. Однажды, когда Игорь поехал в деревню, снег выпал в мае. Выросли сугробы. Мертвые птицы лежали кучами. Соловьи,

ища спасенья, бросались к нему, забивались ему в карманы, за шиворот...»

Вроде бы - чудо? Но так все живое может относиться лишь к своему, к р о д н о м у человеку, в ком оно чувствует защиту, а не угрозу...

Надо сказать, что, еще живя на берегах Невы, автор «Русского урока» вдохновлялся не только воспоминаниями детства и юности, не только недавнюю партизанскую страду воплощал в стихах. Он становился уже в начале творческого пути настоящим поэтом-и с т о р и к о м . Главное свидетельство тому - его поэма «Песня о колоколе». По-разному историки и сейчас оценивают факт воссоединения вольного Пскова со стольной Москвой: это событие действительно дает несколько путей для трактовок. Григорьев же рассматривает его прежде всего с точки зрения историко-эстетической - как свидетельство мастерства псковских древних умельцев-художников... По приказу Великого князя Руси вечевой псковский колокол был разбит на мелкие части и разбросан в дремучих валдайских лесах. Но местные жители собрали куски разбитого колокола, и в золотых руках кузнецов оживила и запела на чародейном языке старинная бронза... И вот с тех пор звенят валдайские колокольцы, и под этот звон

*Припомнятся были и сказки,
Припевки веселой Псковы,
Мечей забубённые ласки
И плач неутешной вдовы.
Тягучие вопли набата -
Забытого вольного брата...*

«Поэма о колоколе» невелика по объему. Она начинается описанием схватки плесковичей с ливонскими рыцарями, картиной, где стремителен уже сам ритм, передающий тревогу и напряженность битвы;

*У стен стон,
Звон со всех сторон,
Ключьями чад:
Котлы со смолой кипят -
Кромешный ад!
И над ночью -
Набат! Набат! Набат!*

...Автор здесь предстает мастером эпического масштаба - оставаясь при этом лириком: не столь уж частое качество у русских советских поэтов второй половины XX века. И главная музыка сего лирического эпизма - личностность восприятия. В немалой мере художник дает слепок своего псковско-воинского мироощущения.

Да, в сущности, таким он оставался во всем, и не только в поэзии, но и в жизни. Могутный былинный богатырь на вид - и чрезвычайно ранимый, порой невероятно обидчивый человек. С ним даже очень близким людям бывало непросто. И он сам знал, и сам остро переживал такую свою «совместность несовместного...» Но самое его большое переживание было не за себя - за судьбу угасающей (после первого послевоенного подъема) псковской сельщины. Сердце болело у него за хиреющие в «кукурузную пору» родные деревни его округа... Он, живя в 50-е годы на невских берегах, все чаще приезжал в родную Порховщину, и стихи, там рождавшиеся, становились опять-таки сплавом проникновенной сыновней лирики с гражданственной эпикой:

*Мое родимое селенье,
Тебя уж нет,
Да все ты есть,
Волненье, тяга, повеленье,
Моей души беда и честь.
Вон там, за сонным косогором,
Вдали от зла и суеты,
Окружено былинным бором,
Дышало ты, стояло ты...*

Так обращался уроженец Ситович к уже исчезнувшему отчему гнезду... И все чаще обуревала его мечта о возвращении в родной край. И непросто было это по многим причинам. Каждый приезд - это и возвращение к могилам погибших товарищей по оружию, это новая боль и без того изболевшегося солдатского сердца... «Лихое и страшное время, никогда не перестану думать о тебе!» - чуть не в отчаянии воскликнул он после одного из таких приездов. Тогда-то и родились у него строки, вошедшие в одну из первых книг, а потом не раз перепечатавшиеся в последующих сборниках:

*И мне мерещится донине
Ребенок, втоптаный в песок,
Забитый трупами лесок,
Как бог, распят старик на тыне.*

И все-таки Игорь Николаевич все отчетливее понимал: его партизанские стихи, написанные в юности, на войне - лишь своего рода «фундамент» для главного здания его поэзии, и возвести это здание, достойное родной земли и ее героев, он сможет, только вновь повседневно ощущая дыхание этой земли - дыхание, в те поры еще хранящее гарь

великого народного побоища. И многие его товарищи по оружию, псковичи-партизаны, были еще живы, и в дружеских разговорах с ними он душой и сердцем возвращался в были народных мстителей... Да и попросту говоря, то состояние, что, как ни крути, издревле зовется «голосом лирным», вдохновением, вселялось в него не среди каменных петербургских громад (пусть и овеянных голосами стольких златоглавых гениев), а все же среди «горушек да болотинок», среди супеси, суглинка да подзола, чей дух и был для него основой того самого вдохновения. Короче, Псковщина все сильнее звала его вернуться - не как блудного, а как верного сына. Вот доказательство тому - одно из самых, по-моему, озаренных и молодой ярью пронизанных стихотворений, «В снегопад» - и не случайно оно посвящено закадычному григорьевскому другу, с которым они не раз и «полевали», охотничали вместе - и спорили до хрипоты. И опять же не случайно оно создано в пору, когда и у друга, у Федора Абрамова, начинался новый творческий подъем (он вовсю этап работать над «Пряслиными»), и Григорьев на Псковщине стал ощущать в себе новый прилив сил как для лирики - причем горячей, любовной, так и для больших поэм. Приведу его почти целиком:

*Вы видели кукушку на снегу?
Вы слышали раскатистую птаху?
Как будто голову кладущую на плаху,
Когда другие птицы ни гугу;
Когда апрель с морозом заодно:
Притих, забыл свое предназначенье.
И стонет, тонет голубое пенье,
ложась на зимнее зияющее дно...*

*Такне бывало: валит снегопад,
И огневает ломкий клич кукушки, -
Как будто разгорается набат
На голой, обессоченной макушке.
И, немо вопия, взметнул старюка-клен
Кривые руки к серому восходу:
«Даруй, апрель, зеленую погоду!»
Но глух апрель, куржою убелен.
А снег лежит. Не хочет плакать снег.
Хохочет снег: «Сожги меня попробуй:
Прохоложу-не запоешь вовек!
И кроет землю белою хворобой.
Да, не до песен теплому комку
В тисках у холодоги-великана.
Но твоему горящему «ку-ку»
Уже поверил юный лес, Весняна.
Веди, буди от ледяного сна:
Земля должна. Земля еще задышит.
Зови, бедуй: тебя поймет весна,
И солнце огнеперое услышит!*

...Не удержался-таки: процитировал этот натурфилософский шедевр целиком, чтобы с полным правом на то воскликнуть - «КАКОЕ МАСТЕРСТВО!!!» - и продолжить эту мысль восторга некоторыми сугубо стиховедческими комментариями. Но ведь и то сказать: даже по-доброму относившиеся к моему старшему другу-земляку исследователи чрезвычайно редко задерживали взгляд на фиоритурности его стилистики, на чрезвычайной точности и сочности его определений, на слаженности и органичности движения внутреннего мелодизма. А заметим: тут нет ничего от «изыска»,

от внешнего «эксперимента» - но вся образная система дышит новизной и свежестью - как дышит готовая очнуться вешняя земля. А эти ненавязчивые внутренние созвучия - «стонет, тонет», естественная игра созвучий - «Зимнее Зияющее»; а как «подогнаны» друг к другу в одной и той же строке архаичное «вопия» и просторечное «старюка», А главное: вся эта роскошь поэтики, звукописи, метафорики сведена автором в предельно цельную картину - в Зов Жизни, в Предчувствие Надежды, рожденные самой землей. Природой. Натурой - причем и человеческой натурой... Не случайно же и Федор Абрамов, и Игорь Григорьев - при всей простоте своих характеров - были для меня едва ли не самыми натуральными людьми среди литераторов, которых мне довелось знать в моей литературной молодости.

...Но именно потому, что ее начало пришлось на 60-е годы в Ленинграде, могу с определенностью сказать: так и людям тогда приходилось весьма сложно в питерской художественной среде. Не вдавая в подробности и детали многих ее особенностей, одно замечу (и пусть кто-то, если возжелает, приклеит на меня очередной «политизированный» ярлык): так и писатели были для нее слишком, даже вызывающе русскими. И не потому ли уехал из Питера целый ряд талантливых художников слова, и не «в полный рост» поднялись в глазах читателей такие самородки разных поколений как Владислав Шошин и Александр Решетов, а как тяжело всю жизнь приходилось Глебу Горбовскому - список можно бы длить и длить... Можно заметить и еще одну особенность творчества Игоря Григорьева конца пятидесятых - начала шестидесятых лет. Напомню молодым: то было вре-

мя так называемой «оттепели», когда мало кто даже из порядочных писателей (хотя бы ради конъюнктуры) не ударялся в так называемое «разоблачительство», избегал мотивов «борьбы с культом личности». Без таких «паровозов» тогда в Ленинграде (даже более, нежели в Москве) трудно было пробить не только книгу, но и журнальную публикацию...

Перечитайте все первые книги Игоря Григорьева - ничего подобного даже слабым намеком не сыщете!

...А уж ему-то, крестьянскому сыну, видевшему бедования псковской сельщины 30-х годов прошлого века, черные последствия коллективизации, казалось бы, было что сказать в стихах на тему «перегибов и репрессий!» Но - он и рос - на войне, и сражался - с той непоколебимой Верой, которая была чужеродна всяческим временным конъюнктурно-политическим поветриям.

И не потому ли в 90-е годы, уже незадолго до своей кончины, с зубовным скрежетом видя, как ненавистный ему власовский триколор стал государственным штандартом, взвившимся над окончательно разорявшимися псковскими селами, он на разные лады произносил две свои импровизационные строчки:

*Я многое не принимал в том строе,
А в этом - ничего не принимаю!*

...Но это произошло уже гораздо позже. А тогда, в начале 60-х, будущему автору «Русского урока» и «Красухи» на берегах Невы дышалось во всех смыслах тяжело. И в прямом, медицинском: питерский воздух не лучшим образом действовал на его легкие, да и вообще на весь израненный организм. И, как было уже сказано, в общественно-литературном. И - в лично-семейном тоже...

Не хочу, не могу, не имею никакого права хоть как-то комментировать причины, тю которым у моего старшего товарища в Ленинграде семейная жизнь пришла к кризису. Об этом даже Лев Маляков, его друг, осведомленный во многих нюансах личного бытия своего партизанского «кореша», упоминал с чрезвычайной осторожностью - а уж куда как был размашист в сугубо «мужских» разговорах... Сам же Игорь, когда в 80-е и особенно 90-годы мы с ним сдружились, порой отзывался о том семейном кризисе, называя «себя любимого» такими словечками из «псковского говора», что и мне, бывшему псковскому мальчишке, прошедшему завод и флот, не всегда было удобно впускать их в слух. А можно сказать проще: кто же из поэтов не влюбчив, и кто же, даже в зрелом возрасте, способен четко отличить любовь от влюбленности?.. Тут и другое надо сказать: как бы там ни было, Игорь Николаевич вырастил замечательных детей, среди которых мы, псковичи, с особой гордостью смотрим сегодня на бывшего морского врача Григория Игоревича Григорьева, ставшего замечательным ученым-наркологом, избавляющим множество людей оттяжкой зависимости...

Наконец, в начале 60-х в жизнь уже 40-летнего человека вошла юная псковичка, ставшая впоследствии (и во многом под его началом) настоящей поэтессой. Да, через несколько лет он и к ней обратит полные светлой печали строки:

*Заря, заряна, заряница,
Червоннокрылый небокрай,
Моя печальная жар-птица,
Не улетай, не догорай...*

Улетела... И в конце концов догорела... Но - начиналось все действительно красивой сказкой, которой завидовали едва ли не все, знавшие Игоря и его юную избранницу.

Словом, к середине 60-х вся судьба нашего поэта вновь и уже окончательно повернулась «на родиму сторонушку». Но-это и в наши-то «беспрописочные» дни такие проблемы не просто и не вдруг решаются, а уж тогда, в жесткие советские! - порой тут возникали трудности чуть не вселенского масштаба с почти шекспировскими страстями... Однако - тавтологически переиначивая известное присловье, скажем так: не было бы счастья, да счастье же и помогло!

...В «перестроечно-катастрофические» времена самым хорошим тоном стало ругать «партократов», людей из высшего партийного руководства - особенно на уровне секретарей обкомов. Верно, разные среди них люди попадались, встречались и - людишки. Но - нашему родному Пскову все 60-е годы с «персеком» исключительно везло. В начале десятилетия обком возглавил Иван Степанович Густов, наш, местный, до того работавший в Великих Луках. Не буду его перехваливать, утверждать, что это был человек какого-то исключительного интеллекта. Но - за область и за ее благосостояние он болел так, как никто из его предшественников и последователей. До сих пор его добром вспоминают и люди старшего поколения селян, и зрелые производственники, и - что еще более удивительно - творческие люди. Достаточно сказать, что его рдением по-настоящему встал на ноги наш областной драмтеатр, открылся театр кукольный, а также образовалось местное отделение Союза художников. И, само собой разумеется, И.С. Густов удивился

- как же так, в городе и в краю столь мощных литературных традиций нет своей писательской организации?

И она - возникла! И первым ее руководителем стал приглашенный из Ленинграда и уже множеству читателей известный в области Игорь Григорьев. По этому поводу «новый старый пскович» написал так:

*Мне не в Невском жаться скопище,
Не локтями ближних пхать -
Уреки, низины топящей,
Песней зори колыхать...*

И он, новоиспеченный ответственный секретарь новоиспеченной писательской организации древнейшего города, впрямь поселился в новой же квартире - именно у реки. У своей любимой воспетой им реки Великой.

Так начался псковский писательский путь Игоря Николаевича Григорьева, продлившийся без малого 30 лет...

33.
**ЧЕРНОБЫЛЬНЫЙ ПЕПЕЛ
КРАСУЖИ**



Слово настоящего поэта всегда самоценно. То есть, разумеется, у него есть всегда определенный смысл в определенных обстоятельствах, есть многозначие. Но подлинный художник Глагола на то и прорицатель, что может провидеть, какой смысл слова может стать магически-уникальным через многие десятилетия. Это и есть самоценный смысл...

В городской псковской библиотеке шел литературно-художественный вечер. Время было мрачное во всех отношениях: между «недоворотом» 91-го с последующим разрушением Союза и между Кровавым Октябрем - 93-го. Разгар гайдаровской «шоковой терапии». Вроде бы пора шла не для мероприятий изящной словесности и музицирования, но город мой таков, что подобные встречи здесь не прекращаются ни при каких обстоятельствах. Вот и в тот холодно-дождливый вечер в стенах библиотечного зала звучали стихи, музыка и песни. Я тогда еще не вернулся в Псков на «преимущественное» жительство в нем, лишь приезжал довольно часто, вот и стал в тот раз в какой-то мере «гвоздем программы». А среди местных поэтов сразу заметил высокую прямую фигуру Игоря Григорьева; рядом с ним сидела Елена Морозкина, почти хрупкая, но излучающая какую-то особую, «светящуюся» энергию. Игорь, как показалось, довольно хмуро кивнул мне (он, надо сказать, непрочь был порой «срезать» заезжего гостя: мол, тоже мне, столичная штучка, приехал тут нас, скобарей тысячелетних учить уму-разуму; да, было в нем, было и кое-что от «чудиков» шукшинских, и порой не чуждо было ему и ёрничество, и веселое лицедейство...), и внимал он моим стихам и глаголаниям, похоже, тоже без особого энтузиазма, с печалью в и без

того невеселых глазах. С толку меня такая его реакция не сшибала: ведь и строки, и рассуждения о ту пору звучали даже на таких дружеских встречах не шибко радужные... Но вдруг, когда я уже дал понять, что мне «пора и честь знать», Игорь Николаевич глянул в мою сторону и своим глуховато-трубным голосом произнес: «Станислав, Чернобыльскую свою балладу изложи!»

Не место здесь повествовать об этом моем стихотворном «хите» второй половины 80-х, родившемся в год катастрофы на Припяти и поначалу многострадальном, - но уже года через два она «прокатилась» по всей центральной прессе и была опубликована в нескольких моих книгах. Скажу одно: в эту большую балладу я вложил главные свои тогдашние тревоги и предчувствия грядущих несчастий государства и народа. Вот лишь один из ее рефренов:

Звезда моя полынь. Горящий чернобыль.

Дитя мое полынь. Земля моя - Чернобыль.

...Вечер завершился, но люди еще не спешили расходиться, и, приобняв меняемой старший земляк-коллега (он был все в той же гимнастерке - и уже со всеми регалиями, а прежде носил лишь один орден), вздохнул и сказал: «Эту твою штуковину я враз наизусть выучил: проняло! Вот ты и предсказал все это бл..ское кошмарище, которое теперь происходит...»

Ей-богу, не думал я отвечать Григорьеву никаким «алаверды», не до ответных комплиментов было пасмурной душе, а просто само собой вырвалось:

«Игорь Николаевич, но ведь ты (я уже перешел с ним на «ты»), но по-прежнему звал его по батюшке: таку нас на Псковщине принято в дружеских отношениях межстарши-

ми и младшими), ведь ты сам про тоже самое сказал еще лет 40 назад!» И прочитал ему:

*Чернобыль над пепелищем
Да густой бурьян.
Оготело ветер свищет,
Прахом сыт и пьян.
Только красные уречки
Трубы, трубы в ряд -
Непогашенные свечи -
Над золой горят.
Только ворон хрипло, глухо,
Каркнет о беде.
Что ж с тобой, моя Красуха?
Где ж ты? Где ты? Где?*

«А ведь тоже с чернобыля, с чернобыльника, со Звезды Полыни ты этот зачин начал, Игорь Николаевич...» - сказал я поэту-партизану. «Это ведь я еще где-то в конце 60-х прочитал...»

Григорьев схватил меня за руку и повел к себе домой... Только я и успел по телефону предупредить родителей, что задержусь (наши дома - в полуверсте друг от друга стояли). Какое там ненадолго! Много встреч «при ясной луне» было у меня с синеглазым ветераном за несколько десятилетий, но столь долгой - до позднего осеннего рассвета - еще не случалось...

«Да, главной моей книжкой считается «Красуха», да так оно, видно, и есть. Но пойми ты, Станислав, что и любая моя книжка - от первой до последней - могла бы так величаться. Да потому что вся моя война-сплошная КРАСУХА!..»

«Конечно, - говорил он, слегка успокоившись, - когда я ту дедовическую беду сам увидал: вздрогнул, шутка ли -

почти 200 человек заживо сожгли. Но, что, думаешь, я таких пепелищ не видал к тому времени? - да не мене тридцати, а то и сорока, разве кое-где людских огарков поменьше было. А ведь по всей нашей Псковщине не менее сотни таких Красух насчитать можно - и всюду живые люди жили, бабы с детишками да со стариками. И я их видел! сам видел, эти пепелища, эту гарь вдыхал, с чернобыльником смешанную! Вот откуда он у меня, чернобыльник этот... А потом - после войны: дробь на эти темы; выяснилось, не столь фрицы в карателях служили, сколь эстонцы да латыши, а ведь они вроде «нашими» стали после Победы... Так что в эту книгу, в эту поэму, в «Красуху» - когда о ней писать разрешили, когда памятникам открыли, я, Станислав, в сю свою войну вложил, всю свою партизанщину!..»

«Вот, стихотворение у меня есть, «Сгоревшее - несожженное», - уже свистящие шепотом говорил мой старший друг, опять переводя свое трудное, затрудненное астмой дыхание, - и оно тоже в красухинские страницы входит, а ведь родилось-то оно после боя под Плюссой, в 43-м еще:

*Я помню горестную ночь,
Третила адскую работу.
Вконец измотанную роту,
Невластную земле помочь...
Я вижу, вижу, как сейчас,
В дыми ще бурую лавину.
Чужого, рыжего детину,
Его налитый кровью глаз.
Метались люди, как в бреду...*

А Ситовичи мои, Слав, что - тоже не та же Красуха? Та же: в войну почти дотла спаленная, а после так и не подняв-

шаяся... И там же все чернобыльником поросло!» -горестно вздохнул ветеран со слезящимся синим блеском глаз и замолк надолго...

Но тут время дать место в этом очерке фрагменту из записок партизанских газетчиков-журналистов В. Кириллова и В. Клемина «Огненный круг. Очерки о плюских разведчиках», что были опубликованы в книге «Контрразведка», вышедшей в Пскове еще при жизни И. Григорьева. Этот эпизод повествует как раз о той полосе его партизанского пути, когда он, уже 21-летний подпольщик, под угрозой разоблачения вынужденный оставить работу переводчиком в комендатуре, возглавил ударную группу партизан; она получила задание задержать подразделение фашистских танков, шедших на карательную операцию:

«...Партизаны приготовили гранаты. Игорь Григорьев поглядел на дорогу: танк был совсем близко. Тут партизан, лежащий впереди, рванулся к месту, подбежал к танку, бросил ему под «брюхо» гранату. Глухо рвануло... Танк горел. Игорь пробежал шагов десять. Вдруг в нескольких метрах разорвался снаряд. Что-то ударило разведчика в правую лопатку, будто обухом. И он упал на колени. Спину заливало жаром. К Игорю подбежала Людмила Маркова, его добрый друг, плюсская подпольщица. Девушка стала сдирать с него одежду.

-Терпи, родной! Тебя ранило! Ишь как пальто на спине рассадило, я сейчас помогу тебе! - утешала Люся товарища.

Это был последний бой руководителя плюских подпольщиков и разведчиков, бригадного разведчика 6-й Ленинградской партизанской бригады Игоря Николаевича Григорьева».

(Забегая вперед, скажем, что именно обнародование этих «спецхранных» очерков во второй половине 80-х годов помогло окончательно развеять в глазах широких масс псковичей лживую и грязную легенду о том, что Поэт-Партизан якобы сотрудничал с оккупантами добровольно).

И начались мытарства юного поэта-подпольщика по госпиталям... И вот, слушая его полночную исповедь, не мог я не вспомнить четыре заключительных строки одного из самых его исповедальных стихотворений:

*И Русь не та, и сам не тот -
Иные времена.
Но в ворохе золы живет,
Гэрит моя вина.*

Вот так... Знаю немало людей, палец о палец не ударивших ради Великой Победы: кое-кто из них до сих пор получает различные ветеранские надбавки к пенсиям и пользуется привилегиями, - но никаких угрызений совести не чувствуют, А тут предо мной сидел изрубленный, израненный воин, отдавший Отчизне и родному краю буквально в с е - и здоровье, и жизненный опыт, и талант недюжинный, и - мучавшийся тяжелой виной. Навсегда запомню его слова: «Как рванул этот Четвертый блок, как дошло до меня - Чернобыль, так и захолодело во мне все: ну, вот, и закипит по стране тот самый чернобыльщик над пеплом! Вот и ты, видно, тогда то же самое почуял...»

А все же не случайно у руководимых юным поэтом партизан-подпольщиков пароль и отзыв были следующими: **«Зажги вьюгу!»** - **«Горит вьюга!»** Игорь Григорьев всей своей судьбой зажигал вьюгу...

Чувство горечи и вины тех народных мстителей, кто обладал хоть каким-либо литературно-журналистским дарованием, можно понять. История Партизанского Движения (повсюду, не только на Псковщине), подлинная, во всем ее происхождении и развитии, во всей полноте и правде - это та часть Истории Великой Отечественной войны, которая теперь, уж видно, обречена быть ненаписанной. Ведь и в годы войны, и почти все советские десятилетия после нее официозная версия сводилась примерно к следующему: на оккупированной фашистами территории все как один поднялись на борьбу с врагом. А ведь движение народных мстителей началось гораздо позже, когда оккупанты стали проводить жесточайшие карательные операции и против тех крестьян, вблизи чьих селений были замечены диверсионные организованные группы (нередко засылаемые с «Большой земли»), и против тех, кто утаивал урожай, который надобно было сдавать «рейху». Пришлось бы писать и о том, что поначалу у многих жителей захваченных земель сохранялось по отношению к гитлеровским войскам ожидательно-настороженное отношение, а кое-кто и впрямь видел в них «освободителей от большевизма»: слишком сильна была в людях память об ужасах коллективизации. И лишь к 1943 году - к Сталинградскому перелому - партизанское движение начало становиться массовым...

Но такие факты ни в какой, даже самый «закрыто-специализированный» справочник не могли попасть. Конечно, существовала замечательная проза о партизанах (П. Вершигора, Д. Медведев и другие авторы), но в ней правда была не полной. А «неполная» - уже и не совсем правда ... Даже образ легендарного разведчика-диверсанта Н. Медведева

вплоть до последних лет представлял читателям искаженным. Создавалась и прекрасная поэзия, изображавшая народных мстителей, - и одни из лучших ее страниц созданы Игорем Григорьевым. Но и он, и другие поэты-партизаны прекрасно понимали тоже: в с е й правды они не пишут, хотя и говорят нечто главное. Вот и приходилось им нередко прибегать к спасительному для русского стиха «эзопову языку». Так вот и мой старший земляк в одной из лучших своих поэм «201-я верста» стремился довести до читателей это первоначальное. .. не то, что нежелание, но юношескую боязнь гибели «не на миру» - и вместе с тем нарастающее понимание неотвратимости битвы за родную землю:

*...Сейчас бы кротом зарыться в песок,
Зайчишкой в потемки сигать.
Но липнет пепел, жжет висок, -
Твой пепел, родина-мать.
И в глине не просто следы колес,
А раны и тяжкий позор,
Раны земли, где ты стал и возрос,
Где нынче плен и разор...
...Ах, летняя ночь, Зорина дочь,
Беляна, не будь же темна, -
Не завораживай, не морочь,
Не стращай покоем до дна!
Не опоздает никто умереть
На этой скорбной земле.
Дозволь подышать, дай погореть,
Погоревать во мгле!
О тихом лете погоревать,
Послушать птичью струну,*

*Зорьку без выстрелов погоревать,
Песню сложить хоть одну.
Впрячь бы в косилку пару коней,
Гчать бы за рядом ряд!
Воздух над пожней - браги хмельней,
Травы - вспугни - вспарят.
Травы, как жаворонки, звонки,
В цветени девичий смех...
Встать бы с солнышком наперегонки
Да посенокосничать. Эх!*

...Я не случайно привел столь большой фрагмент лирического отступления из главы «Рассвет», центральной в поэме «201-я верста». (Собственно, «отступлением»-то в плане стиховой архитектоники оные строфы трудно назвать: это мощный лироэпический гимн Жизни, противостоящей Смерти, гибели насильственной). Просто хочу сказать, даже выдохнуть сердцем, причем сердцем ветерана-читателя, знающего и проработавшего солидную библиотеку поэзии, которая обращена к теме Великой войны: мало я знаю в этой библиотеке страниц, которые могли бы соперничать с «201-й верстой» в целом и с этой страницей в особенности в воплощении красоты земного бытия - причем красоты, живущей в сердце русского человека, который находится перед самым роковым выбором: жить - или умереть. Жить, вдыхать эту красу земную, купаться в море счастья, любви и труда - или стать трупом и сгнить. Но... как жить на такой земле, если она - не твоя, а вражья? Откровенно признаюсь: лишь лучшие страницы Твардовского, такие, как сцена прощания героя и его жены перед разлукой на сеновале

(«Дом у дороги») да некоторые строфы из его «Книги про бойца» в моем восприятии встают вровень с прочитанными вами только что строками моего незабвенного земляка...

Тем не менее Игорь понимал (и порой в нем это понимание аж зубовным скрежетом прорывалось): и такая, высокая и страстная стихотворная речь-еще не самая глубинная правда о пережитом. И жил он с этой болью недовольности своей творческой личности. Не раз, и в интервью, и в предисловии к одной из своих поздних книг он «проговаривался», что им то ли замыслен, толи он уже «корпит» над романом о партизанском лихолетье... Не буду тут ничего комментировать: ни в одном из архивов поэта (так и не собранных воедино) пока что не обнаружено ни единого наброска подобного произведения - разве что разрозненные дневниковые записи.

Игорь Григорьев остался для нас Поэтом.

(Но вот она, товарищеская взаимоподдержка бывших партизан: его «названный брат», его младший друг по отряду народных мстителей - и тоже дивный псковский поэт Лев Иванович Маляков написал именно такую книгу. Это роман «Страдальцы», повествующий о бедованиях псковского села в лихую годину и о битвах партизан за родную землю. Но эта вещь требует отдельного разговора...)

Вот такой человек стал в 1967 году первым руководителем только что созданной Псковской писательской организации.

И поначалу все пошло не просто хорошо-замечательно. В Пскове открылось отделение Лениздата, его директо-

ром стал Лев Мапяков, начали выходить книги местных прозаиков и поэтов (причем первую свою книгу на родине новый ответсек выпустил лишь через три года после начала работы, - не столь уж частый случай во все времена советской литературной жизни). Кроме того, в том же 1967-м в Пскове, в Святых Пушкинских горах и в Михайловском прошел 1-й Всесоюзный праздник Пушкинской поэзии, вскоре получивший мировую известность. На этих ежегодных торжествах голос поэта-партизана звучал рядом и с голосом легендарного «Домового-Хранителя», Семена Степановича Гейченко, и с голосами прославленных людей державы - Ираклия Андронникова, Ивана Козловского, Николая Тихонова, Михаила Дудина, Конст. Симонова.. Псковский «литературный заводила» стал получать все большую известность в столице, его стихотворные подборки, хоть и не часто, но стали появляться в центральной литературно-художественной периодике. Несколько новых книг стихотворений и поэм вышли в Москве и в Ленинграде. В это же время он свершил - тут трудно сказать «завершил»: многие страницы с болью в сердце остались «за бортом» - большой эпический труд, свел воедино, под одну обложку разрозненные части «Красухи». Книга-поэма, верней, свод поэм под этим титулом вышел в 1973 году в Москве и был удостоен множества добрых отзывов. Но-что, по-моему, гораздо более важно для художника - в творчестве Игоря Николаевича наступила пора... нет, вовсе не умудренности, не пассаистского успокоения или умиротворения чувств, но вот внутренний взор, взгляд сердца - они явно прояснились. Вместе с тем палитра стиха не стала суше и беднее, отнюдь нет, однако некие «перехлесты» в цветистости,

в «местном говорке», которые прежде порой затрудняли читательское восприятие, уступили место более чеканной стилистике, и даже редкостная для молодого Григорьева афористичность начала погашивать в его строках. И это пришлось особенно к месту в любовной лирике, прежде излишне взвихренной; вот несколько строк из «Письма любимой», которое было написано где-то в конце 60-х:

*Считай, как можешь. Каждому свое:
Ты любишь жить надежно.
Я- надеждой.
Спокойной прозой душеньку утешь ты -
Не мне судить твое житье-бытье.
Я не собьюсь с дороги, не тужи,
Не прокляну затученное солнце.
Я не один. Мне есть, что петь, кем жить:
Любимая - любимой остается.*

Словом, казалось бы, в судьбе поэта обозначился хотя бы относительный период стабильности - той стабильности, без которой и любому-то человеку, а уж творческому и тем паче на переходе к зрелому и суровому возрасту очень трудно обойтись, чтобы осуществлять большие и высокие замыслы.

...Но, как говорится, недолго музыка играла. Прошло несколько лет, и эта стабильность рухнула. И тут, как это часто бывает в жизни талантливой человека, и как не раз уже случалось с автором «Красухи», сошлись сразу несколько «силовых линий», причем сугубо отрицательных. Уже не раз говорилось: характер у Игоря Николаевича дипломатичностью не отличался, и никаких он свойств, надобных даже «низовому» функционеру, за недолгое время своего ответ-

секретарства не приобрел. Да до поры до времени оно ему и не требовалось: идеологические помощники у И.С. Густова и сами были людьми неглупыми (тут уж точно - каков поп, таков и приход), и знали, что «хозяин» к местному писательскому главе уважительно относится. А потому и некоторые «странности» григорьевской натуры, и его «ершистость» - особенно, когда дело касалось принципиальных литературных вопросов - все как-то обходилось...

Советовали ему «знающие люди»: Игорь, обеспечь ты себе «тылы» в Москве, ведь не вечно ж тебе на псковском стуле сидеть; ты же часто теперь бываешь в столице, с «большими людьми» видишься, заведи с ними добрые отношения - нам ли тебя, бывалого, тому учить?! Но Игорь как раз этому не был способен учиться: ему физиологически претило всяческое чиновничество. Воин по духовному строю, он презирал даже мельчайшее угодничество, и просто тошноту у него вызывало то «заигрывание» с «литературными генералами», в коем стали большими доками многие его собратья по перу... Более того: долгое время притчей во языцах среди местных и дальних литкругов была история о том, как Игорь во время одного из Пушкинских дней «осадил», жестко поставил на место не в меру разгулявшегося и охамевшего издательского сановника. «Ты у меня никогда свою книгу не выпустишь!» - заявил тот наутро. И - сдержал свое слово... Тогда как более склонные к «толерантности» его областные коллеги впрямь становились «своими» в мегаполисах, выпускали тома и собрания сочинений, словом, «добивались степеней известных», а то и сами на «теплые места» в столице и в Питере садились... Для Игоря же все это было на чистом исключено.

Хотя во множестве других своих проявлений он являл собой образец отнюдь не ангела, а обычного русского мужика со всеми присущими такому типу грехами и грешками.

Он и сверстникам своим, и автору сего очерка не раз признавался: не горжусь тем, что я такой, просто иным быть не могу, быть иным-хуже, чем дерьмо жрать... И, наконец, понимал: приходит чиновная эпоха. Не его время приходит. И писал об этом прямо:

*Уразумей: крута эпоха,
Разладишь с ней, не пощадит -
Она, как вихорь-грозовит, -
Чуть что, столкнет с пути без вздоха.*

Не столкнула. Но на обочину сильно сдвинула - на обочину той звездно-творческой стези, той «столбовой» литературной дороги, которая единственно и дарит при жизни (при жизни - заметим еще раз!) и громкую славу, и прочие знаки отличия, столь желанные даже самому скромному художнику слова. Не с одним лишь с ним, моим старшим товарищем-земляком, произошло подобное «сдвижение». Со многими. Да еще и не самое трагическое... За почти сорок лет литературной деятельности довелось мне знать немалый ряд людей, чье литературное дарование обладало, мягко говоря, не меньшими силой и масштабом, чем у автора «Русского урока», и точно знаю: при иных обстоятельствах личной судьбы, при иных условиях их взросления едва ли не каждый из них мог бы стать гордостью отечественной литературы. Большинство же-сгнули в полной неизвестности... Это еще в лучшем случае - о худших не хочу вспоминать.

Игорь Григорьев, надо сказать, при всей своей порой нежданно-резкой взрывчатости и гневливости, к подобному

«модус вивенди», к такой - «среднестатистической» - стезе бытия человека, избравшего своим делом русскую словесность, относился как-то удивительно спокойно, даже философски: с присловьями вроде «взялся за гуж...» И к своей судьбе - тоже. Помнится, в погожий августовский день своего 70-летия (нарушая обычай за 2 дня до Яблочного Спаса), перебирая привезенные только что из деревни груды духовито-румяных плодов и надкусывая то один, то другой, он говорил примерно так:

«Мне - что? Жил и живу не хуже других. В тюрьме не сидел. Бомжем не стал - а, вон, сколько фронтовиков по помойкам шатаются! Да и вообще-жив еще. А вспомните-ка других: вон, Кольку Рубцова, уж на что гений был, в 35 придушили...» (В том, что смерть вологодского самородка была спланированным убийством, он не имел никаких сомнений-также, как и относительно Есенина...)

Еще точнее и с гораздо более жгучей определенностью он высказал свои заветнейшие раздумья над судьбами русских соловьев стиха в двенадцати строчках, обращенных к Александру Гусеву, любимому из всех его псковских младших товарищей по перу. (Это был действительно поэт необычайного дарования, которому не могла дать раскрыться жесточайшая болезнь: еще юным солдатиком в конце 50-х Саша получил мощную дозу радиации, отчего жестоко и во многих отношениях страдал всю жизнь-хотя и писал, и сильные, яркие вещи писал, и не одну книгу издал, и пережил своего старшего друга на 5 лет...)

*Не прибыльна песня об этом,
Вся - пламя, октябрьская тишь:
Коль выпало статься поэтом -*

*От первой же искры сгоришь.
Что правда, то правда: сгораю -
Вся глушь как пылающий скит.
Поэтому я выбираю
Погоду, когда моросит.
«В такое бездожде беречься?
А грянет ненастье-запеть?
Да это ж от злата отречься!..»
А мне бы - дотла не сгореть.*

Словом, такую можно бы было изобразить метафору жизни юного народного мстителя, ставшего поэтом:

«ЗАЖГИ ВЬЮГУ-ОБРЕТЕШЬ ПЫЛАЮЩИЙ СКИТ!»

Но это сегодня, через десятилетия, можно вспоминать о жизненных передрыгах Игоря Григорьева в историко-литературных образах, даже с примесью ему же свойственной иронии. А тогда, в начале 70-х, ему было не до иронии, не до шуток, ему просто ой как несладко пришлось...

Началось с того, что И.С. Густова, который за 10 лет возвысил область и в материально-экономическом, и в культурно-творческом отношении, в Москве решили повысить. И это было вроде бы доброе и достойное по тем меркам повышение: бывший псковский глава обкома занял действительно высокий пост в самом верхнем эшелоне ЦК КПСС. (Добрая память об этом незаурядном человеке требует воздать ему дань еще в нескольких словах. Пост-то был высокий, второй человек в Партконтроле, но - ни «вбок», ни «вверх» стой должности уже сдвинуться было нельзя. Так и жил он в Москве, покуда вскоре после ГКЧП новые «демократические» хозяева Старой площади не «помогли» ему,

никогда не страдавшему суицидным комплексом, выпасть вниз с десятого этажа: слишком много неприятных тайн ведал бывший пскович об этих новых хозяевах... Светлая ему память!)

А вот «новая метла» оказалась совсем иной, чем Густов, а ее «идеологические метелки» повели себя так, что худо пришлось многим творческим людям Псковщины. И первым «под колпак» попал Игорь Григорьев. Поначалу-то на проявления его независимости смотрели сквозь пальцы - лишь поворчали, когда он, к примеру он отдал свою трехкомнатную квартиру многодетной семье, а сам переселился в их двухкомнатную. Мол, жилплощадью партийного фонда распоряжается... Но главный гром грянул, когда у него возник гремучий конфликт с обкомовским куратором «изящных искусств» по поводу выхода первой книги все того же Александра Гусева. Партбосс уперся намертво: такой пессимизм мы не пропустим! Существуют два варианта того, что тогда ответил обкомовскому начальнику глава псковских писателей. Первый таков: «Неужели Вы один считаете себя разбирающимся в поэзии больше, чем все наши литераторы, вместе взятые?» А вот второй вариант, мне думается, более соответствует характеру Григорьева: «Надо бы с утра пропускать не по двести, а хоть по сто, тогда и не будет Вам такая поэзия казаться пессимистичной!»

Ясно дело, скандал, разбирательство на бюро обкома... Игорю безапелляционно предлагают «отставку», а он - «Как скажут мои товарищи по перу!» Понадеялся старый партизан на товарищество... Ведь в выросшей организации были уже и те, кому он вручал членские билеты. Кого он уже в какой-то мере питомцами своими считал. А, главное, поло-

вина организации состояла из бывших фронтовиков... О, святая, наивная (такая же у моего отца была до конца его дней) вера в нерушимость воинского братства, - сколько людей расшибались в кровь из-за нее! взять хоть того же прославленного подводника А. Маринеско, «парившегося» на лагерных нарах и стонавшего: как же так, ребята, почему же вы меня забыли?.. Вот и дрогнули псковские «товарищи», в чем потом не раз горько каялись - когда распинали уже кого-то из них... А в те дни Игорь написал вот это горькое откровение:

*Мои собратья по перу
Не поделили «псковской славы»,
И я, доколе не умру,
Не позабуду той отравы.
Нет, не с цианом порошки
В стакане водки. Проучили
Меня надежней корешки -
В глазах России обмочили.
Вот это - так была беда,
Не просто жизни оплеуха.
Не с ног сшибали - я тогда
Лишь чудом не свалился с духа.*

Не свалился, выстоял крепкий скобарь, воин-партизан, сын крестьянский. Но жизнь его на несколько лет снова вошла если не в «штопор», то все же в довольно-таки неласковую пору.

Хотя любой объективный историк советской литературы не сможет отрицать: произошедшее во Пскове с поэтом И. Григорьевым было лишь своего рода «микроэлементом» того

процесса, который тогда шел по всей стране. По всем общественным и художественным структурам. Тот процесс можно назвать «очиновлением» или «обюрокрачиванием» руководства, а можно иначе - «выдавливанием» непокорных, «ежистых», имеющих свое мнение (и не столь уж важно, насколько то мнение было объективным и верным) и способных его отстаивать перед властью имущими, перед «высшим судом партии» - на более послушных и покладистых. Порой - на далеко не бездарных, но умеющих «встать во фронт», но часто - на «никаких»...

Вспомним, если говорить о самых «верхах»: партийного «Демосфена» Г. Куницына и влюбленного в искусство Руси Ю. Мелентьева сменили на «великого немого» Л. Шауро и на активного русофоба (а через годы - «архитектора перестройки») А. Яковлева. «Отодвинули» от активного руководства Союзом писателей еще вовсе не дряхлых А. Суркова, Н. Грибачева, С. Щипачева да и более дипломатичного К. Симонова - на смену им пришел тоже ведь далеко не бездарный прозаик, но - «гроссмейстер аппаратных игр» Г.М. Марков с командой ему подобных... А вспомним судьбы главных редакторов «Нового мира», «Октября» и «Молодой гвардии»: уж на что разными, нередко и враждовавшими друг с другом людьми были А. Твардовский, В. Кочетов и А. Никонов - но у каждого была горящая душа, в груди каждого стучало ярое сердце! Каждого по-своему, но - убрал и всех троих...

Так было на «макроуровне», но подобное же происходило и в областях. Тоже не один пример можно привести... Вот и во Пскове «ушли» непокорного поэта-партизана Игоря Григорьева.

...Лев Маляков вспоминал (верней, они как-то при нас, более молодых, вдвоем ударились в устные мемуары о былых своих перетурбациях), что он тогда же предложил своему старому другу пойти к нему замом: напомним, Лев Иванович руководил псковским отделением Лениздата. На что Григорьев ответил ему так: Лёва, мы же с тобой если не на второй, так на третий день смертными врагами станем, разлаемся вдрызг из-за какой-нибудь конфликтной рукописи, которая яйца выведенного не стоит. А второе: и тебе, Левка, тоже на орехи может достаться от тех же обкомовских держиморд за такое «деловое предложение»...

Оба резона старшего из «названных братьев» были далеко не беспочвенны. Тем не менее Маляков еще раз два повторил это приглашение, - однако вскоре Игорю стало не до служебной страды. Обострился застарелый недуг в легких, потянул за собой и другие: поэт надолго попал в госпиталь. Пришлось удалить часть легкого. Но - на удивление быстро оклемался и даже написал на больничной койке большой ряд стихотворений и баллад, которые затем вошли в один из его столичных сборников с символическим титулом «ЖИТЬ БУДЕМ»... Читая эти «госпитальные» вещи, нельзя не заметить: словно к кислородной подушке, тянулся он памятью сердца к дням своей партизанской юности, искал в них духовную опору, противоядие от яда своей новой недоли. И вот вспыхнул в памяти партизанский пароль «Зажги вьюгу!» - и вот как отозвался он в новых строках, созданных на одре болезни:

*Тебя принимая, себя не жалею,
За волю неволей плачу.
С поклоном пожму пятерню снеговую,*

*Прижмусь к ледяному плечу.
Хоть небо твое чужевысей не выше,
А в стуже - закатный костер,
К тебе, моя Вьюга, пришел я-не вышел:
И руки, и душу простер.
Застыну, оттаю над бездною гладкой,
Поверю в весеннюю Русь,
Вздохну ненароком, заплачу украдкой,
И-вновь над собой засмеюсь.*

Ну, разве это - в «юдоли» создано? где ж тут «страдальческая болезненность»?... Это - просто высокая поэзия высокой души.

...А меж тем недоля все ж была реальной, и физические испытания оказались не самой тяжелой ее стороной.

Именно тогда, вскоре после «разлада» Игоря Григорьева с высшими партаппаратчиками области, а отчасти - и кое с кем из писательской организации, еще недавно им руководимой, и вспыхнула с новой силой до времени лишь изредка шипевшая зловонная сплетня: о н, оказывается, добровольно в 1941 году, восемнадцатилетним пареньком пошел служить в полицию.

И то здесь, то там в разговорах досужих земляков (и не только откровенных злопыхателей, но и просто любителей всякой «щекочущей», «клубничной» информации) стало проскальзывать: а Игорь-то Григорьев, оказывается, полицаем был! А прославленный-то наш поэт-партизан, выяснилось, фашистам служил!... (Сплетни, как известно, растут в геометрической прогрессии, первооснова их быстро заплатаивается новыми наростами, и вот уже менее чем полго-

да работы переводчиком - напомним, по заданию подпольного партизанского райкома -стали «интерпретироваться» нередко буквально так: участвовал вместе с оккупантами если не в карательных операциях, то уж точно в изъятии урожая у крестьян. Вот так! Автор сего очерка слышал эти «версии» собственными ушами...)

...И если б дело только устным клеветническим трепом ограничилось! Нет, в «открытую печать», ни местную, ни столичную, оные «версии» не попали: для того нужны были бы весомые документальные свидетельства. Но - с легкой руки некоторых местных борзописцев (а по чьей-то «наводке» - и столичных) сразу несколько соответствующих «телег» направились и в «компетентные органы» Пскова, Москвы и Ленинграда, и, разумеется, в руководство Союза писателей. И, естественно, тут же были созданы соответствующие комиссии...

Но, слава Богу, в комиссиях тех оказались люди и ответственные, и порядочные. Ими были найдены в разрозненных архивах документы, подтверждающие реальную, боевую, героическую деятельность поэта-партизана и подпольщика во время войны. А, главное, с немалой оперативностью были найдены в разных концах страны тогда еще живые и здравствующие товарищи Игоря Григорьева по партизанскому подполью. Все эти свидетельства и аргументы **камня на камне** не оставили от грязной клеветы.

Доброе имя прекрасного поэта в глазах земляков и читателей было восстановлено. Но един Бог знает, как тяжело приходилось ему в те недели и месяцы, когда шли все эти розыски и разбирательства. Пожалуй, лишь в одном стихот-

ворении Григорьева прозвучало тогда нечто вроде попытки оградить себя от потока грязи - но и эти строки звучат гордо и мужественно:

*Я родине моей не изменял.
Безрадостной пылью переполнясь,
Я убивался с ней в глухую полночь,
Но родине во тьме не изменял.
Ее беда (не наша ли вина?),
Что, верящих в молчанье грозно ввергнув,
Поверила она в лишенных веры.
Ее беда - не наша ли вина?
Я к родине своей не холодею,
Хоть крохобор мне тычет: «Дуролом!..»
Пусть обнесен и хлебом, и вином -
От зябкости ее не холодею...*

В самом напряженном ритме этих «кольцующихся» строф слышится не самооправдание, но-жертвенное, воинское понимание суровости эпохи - не в смысле «лес рубят - щепки летят», а как раз наоборот: это ощущение себя не «щепкой», а крепким и несгибаемым деревом в вечнозеленом лесу по имени Россия!

И он доказал, что он именно таков! Прежде всего - и это удивляло многих, знавших его порой донельзя взрывной и обидчивый нрав - он не только что не озлобился на жизнь и на окружающую действительность, но в нем не проявлялось даже ни на йоту, ни на пылинку никакое желание показать себя этаким «страдальцем». (А ведь многие люди, претерпев гораздо менее критические ситуации, годами, а то и всю жизнь ходили с видом невинно пострадавшей жертвы, требуя за это всяческие привилегии...) Напротив, в чем-

то он даже и проще, и снисходительнее стал с людьми. Ну, разве что кое с кем совершенно прервал отношения. Что было совершенно оправданно: это были как раз такие людишки, которые при удобном и для них необходимом случае вновь могли издать все тот же змеиный шип: дескать, знаем мы этого партизана!... А еще точнее - «этих партизан!» - должен высказать твердое свое убеждение: в корне всей той грязной кампании уже в те, далеко еще не «перестроечные» годы, определенным силам надобно было скомпрометировать звание народного мстителя, вообще опорочить понятие «защитник Отечества». Прошли десятилетия - и эта задача стала выполняться в широчайших масштабах. А тогда случай с Игорем Григорьевым был одним из пробных камней...

...Говорю, и меня, когда я во второй половине 70-х, приехав в родной город (уже в качестве не только члена СП, но и спецкорреспондента «толстого» журнала), встретился с этим синеглазым богатырем, просто удивление взяло: до чего же «помягчел» Игорь Николаевич. Нет, он по-прежнему был и колоритен, и ярок, и остер в своих суждениях, но - бывшая его язвительность, нередко мешавшая и ему самому, и особенно младшим его собеседникам, значительно поубавилась. Он действительно стал и вести себя, и говорить проще, естественнее. Вроде бы - и более по-мужицки, по-крестьянски. А с другой стороны, можно и так сказать - и намного интеллигентнее. (Сегодня-то мне думается: а уж не одно ли это и то же?..) Как бы предупреждая мой вопрос о его недавно завершившихся передрыгах, кратко сказал: «Пшиком кончилось! Сгинули нечистые... как и вся нечисть у нас, поздно ли, рано ли - вонючим дымом исходит...»

И вот тут надобно сказать едва ли не самое кардинальное о тех переменах, что происходили с Григорьевым как поэтом и гражданином. Речь идет не о личной, индивидуальной психологии, а о философии творческого духа. По моему убеждению (основанному на сравнении более ранних его страниц с более поздними) Игорь год от года все более отделял в поэзии и в жизни временное от... если не от вечного, то от сущностно-изначального, от неких исторических неотменяемых основ бытия. Жителю Псковщины вообще легче ощутить в себе чувство историзма, чувство громады времени, нежели жителю какого-либо иного края: здесь все веет Русской Вечностью. Вот и автор «Русского урока» с течением лет все более ощущал себя сыном земли древнего Плескова, потомком тысячелетней славянской земной культуры - а не просто человеком, причастным по судьбе к определенному социально-конкретному моменту истории... Мне вспоминается, что в той же встрече я рассказал ему о своем дружеском знакомстве с давним моим кумиром - с поэтом, прозаиком и исследователем истории и культуры Руси Сергеем Николаевичем Марковым (1906-1979). «О-о! - воскликнул Игорь, вскинув вверх густые брови, - Наконец-то ты в Москве с настоящими людьми стал знакомиться! Ведь это - волшебник, мудрец, века объемлющий!» И тут же прочитал вслух одну из ключевых строк этого блистательного поэта-историка:

Живем столетьем - не одним мгновеньем!

И, к моему совсем уж радостному удивлению (ведь Сергея Маркова как поэта знали и знают немногие, читателям гораздо более известна его исследовательская проза, особенно его «исторический бестселлер», повествующий о

Русской Америке - «Юконский Ворон»), мой старший псковский товарищ со вкусом продекламировал строку из, может быть, самого программного стихотворения Маркова, из «Русской речи»:

*...Бессмертной ее нареки!
Ее колыбель не забыта:
В истоках славянской реки
Сверкают алмазы санскрита.*

«...Вот, - продолжал Игорь, - и мне все вот это теперь час от часу всё ближе, всё роднее по душе. Раньше-то - мгновеньем жил, как почти все мы, грешные, из нашего поколения. И, может, не столько в стихах, сколько в самой жизни. Вот и тратил ее на суетню всякую, да силы на перебранки с разной шелупонью растрачивал... А сейчас, знаешь, Станислав, всем нутром что ни день всё сильнее чую: мы во Пскове - как в Русском Космосе живем. Пскову тысяча лет с лишним - это только по летописи, а на деле? Вот и надо нам судьбишки-то свои этими тысячелетиями мерить, а не «текущим моментом». И стал читать свое, новое:

*Тыща лет! Это ж самая молодость:
Не дымить, а гореть нам и греть.
Только вновь не завьюжила б холодность,
Чтобы впредь не стареть нам, а зреть.
Лишь мертвящее зло не ожило бы,
О котором живым не судить -
Не всочилось бы вкрадчиво в жилы нам,
Только б души пред ним затворить!*

(А позже, когда вышла его книга «Жить будем», мне бросились в ней несколько стихотворений, как бы «прилегающих» к той теме, на которую мы с Игорем Николаевичем

тогда разговаривали: в них ощущалось нечто вроде покаяния перед поколениями предков, для которых Русская Жизнь была и святым, и устойчивым понятием. Приведу несколько «знаковых» стрóf одного из таких стихотворений, - они, по моему, являются красноречивыми свидетельствами перемен в художественном мире уроженца порховской деревни Ситовичи:

*Когда мы были очень юными,
Совсем не верили тогда,
Что под березами подлунными
Живая замерла вода.
Не ведали, что младо - зелено.
Все вроде ясно наперед.
Запрету «Дедами не велено!»
В глаза дерзили: «Век не тот!»
Нам были злат-края доверены,
Чтоб не закрался в них урон.
А нам бы - вдаль: мы были зелены,
Заветы дедов - не резон...*

...Что ж, здесь очень точно и искренне передано мировосприятие едва ли не большинства людей, звавшихся «советской молодежью» перед главной мировой бурей XX века; здесь воспроизведены черты «комсомольско-ударного» образа жизни ребят и девчат из первого поколения, родившегося после 1917 года: все - заново, до нас ничего особенно ценного не было, «мы наш, мы новый мир построим». Нет, разумеется (сужу о том хотя бы по рассказам отца, токе в псковской деревне родившегося), у многих уроженцев русской сельщины оголтело яростный нигилизм хотя бы

по отношению к старшим все-таки отсутствовал - сам образ сельского бытия не давал ему развиваться; и все же, все же - во многом те предвоенные «комсомолята» были настроены именно так, как сказано в григорьевских поздних строках покаяния... С другой стороны, можно ведь и так судить: а будь юный Игорь и его друзья-подруги настроены иначе - вряд ли бы они сами, еще до приказа подпольного райкома, по своему яростному почину взяли бы да организовали молодежную подпольную группу для борьбы с оккупантами... Много есть таких «узлов» в судьбах русских людей минувшего столетия, что вряд ли какой историк и психолог сможет их не то что развязать - но и просто прикоснуться с тактом и трепетом надлежащими. Одно скажу: не нам судить, а тем паче не нам осуждать людей прежних поколений за подобные «узлы». Нам бы в нашей Смуте разобраться!)

...Хотя, помнится, именно тогда (или в один из моих приездов того времени) Игорь высказал примерно следующее: «Мы с Лелей часто вот о чём говорим: если б нам перед войной настоящую историю преподавали, а не «пролетарскую», если б мы тогда ощущали, что такое - Тысячелетняя Русь, нам бы, наверное, не было б так жутко в начале войны. Не восприняли б мы войну как катастрофу - знали б тогда, что это не первый снег нам на голову. Знали б тогда с первого же дня, что - сдюжим! А то ведь у многих из нас головы от ужаса кружились: как же так, на нас напали!..»

Мне это высказывание Григорьева сегодня вспоминается, во-первых, потому, что оно и впрямь ныне очень актуально. Ведь многими из нас овладело в той или иной мере мироощущение некоего «катастрофизма». И даже кое-кто из общественных деятелей и литераторов, всерьёз себя пат-

риотами зовущих, слёзно восклицают в своих выступлениях: всё, кончилась Россия, сгубили её под корень супостаты! Подобные стенания, опять-таки всё о том же свидетельствуют: эти люди либо плохо знают многовековой тернистый путь Отечества нашего, либо - слабо ощущают его сердцем. Иначе бы понимали: не первый снег нам на голову, сдюжим, одолеем и эту Смуту...

А во-вторых, в том откровении Игоря Николаевича впрямую было сказано о том человеке, который помогал ему насыщать свою душу и укреплять своё мирознание этим великим чувством *и с т о р и з м а*. О женщине, которая стала ему главной духовной опорой в последние 20 лет его жизни.

«Леля» - так звал ее Игорь Николаевич. Елена Николаевна... Елена Морозкина. Высочайшего класса ученый-искусствовед, воспитавшая целую школу реставраторов церковного зодчества, настенных росписей и иконописи. Следы ее деятельности - и в Смоленске, и в Новгороде Великом, и в других градах и весях. Но в 70-е годы главным «плацдармом творчества» бывшей девушки-артиллеристки становятся Псков и Псковщина.

*...И с высоты многовековой
Собор в сияньи облаков,
И эту пыльную подкову
На счастье подарил мне Псков.*

На счастье... Трудно сказать (да и невозможно давать определения в таких случаях) счастьем ли в полном смысле этого слова обернулась для них обоих, для Морозкиной и Григорьева, встреча, а затем и житейский союз. Но одно

точно: и встреча, и союз стали для обоих подлинным - и донельзя вовремя - спасением, как творческим, так и жизненно-бытовым.

Так ведь очень часто происходит в судьбе художника: самое интимно-сокровенное, потаенное, на уровне глубин подсознания существующее какими-то совершенно невероятными, может, и впрямь лишь Богу видимыми путями сопрягается с глобально-философскими основами его свершений, с созреванием его мировосприятия, И бывает: один случайный взгляд женщины свершает в обновлении художественного мира поэта тысячекратно более решительный поворот, чем годы раздумий, переживаний и горы прочитанных мудрых книг....

Как уже говорилось в начале моего очерка, оба они во многом были «ростом вровень», подстать друг другу. У каждого имелся свой немалый груз «сердца горестных замет». Любимый человек Морозкиной погиб на войне, в мирные годы ее женская судьба по целому ряду причин тоже не сложилась, да и в своем восхождении по научной стезе она испытала немало предательств, подлостей и подножек. Что отчасти было естественно: в хрущевские «атеистические» годы искусствовед пишет труды по восстановлению православных храмов, и эти труды получают восторженные отзывы виднейших ученых мира, - не только чиновникам, но и многим «коллегам» такое было против шерсти... Эта хрупкая на вид немолодая женщина могла в мгновение ока стать «богатыршей», когда надобно становилось буквально прорваться в самый высокий начальственный кабинет, чтобы потребовать - не смейте разрушать жемчужины псковской древности! И не раз так она делала, и многим псковичам

помнится ее звучный, сильный, истинно поэтический голос, которым она возглашала на разных собраниях псковской патриотической общественности: «Надо бить в набат! Иначе - неповторимая краса Пскова будет уничтожена железобетоном!»

...Я видел Елену Николаевну буквально за один день до ее кончины декабрем 1999 года в ее маленькой московской квартирке, больше похожей на музей. Она и не думала умирать (хотя вся уже была источена недугами); напротив - поделилась столькими своими планами и замыслами, что мне подумалось: для их осуществления надо лет 20, не меньше! И один из главных пунктов той творческой программы звался так - **«Поэма об Игоре»**. Смесь мемуарной прозы со стихами - так определила ее жанр Морозкина. И добавила несколько слов, которые мне просто врезались в сердце:

«Не будь Игоря - не было бы у меня в жизни моего Пскова. Не будь рядом Игоря - не написала бы я ни одной книги о Пскове (а всего их Морозкиной создано около 10, и главные из них, «Псков» и «Щит и зодчий» переведены на несколько зарубежных языков, стали гордостью отечественной реставрационно-исторической науки. - С.3.)

Вот так... А Игорь Григорьев, встретившись с Морозкиной, сначала так горько вздохнул, что написал несколько отчаянных строк:

*Когда мы жизнью наиграемся,
Натешимся, намаемся до дна,
Тогда мы снова жить засобираемся,
Как будто нам вторая жизнь дана...*

Но - вторая, не вторая, однако, как выяснилось, есть такое понятие как «продолжение жизни». И оно порой быва-

ет светлей и плодотворней жизни предшествующей, с ее «играми» и маятой... Конечно, к моменту встречи с Морозкиной Игорь Николаевич в каком-то смысле был одиноким и уставшим мужчиной. Он не порывал добрых отношений с матерями двух своих детей, живших в Ленинграде, но его псковскую, хоть и вовсе не запущенную, холостяцкую квартиру Домом было нельзя назвать. Он, по его собственным словам, уже слишком хорошо знал цену восхищенным женским взглядам, которые по-прежнему нередко устремлялись на него: его сердца они уже не трогали. «А эта богатырка, ворвавшаяся в кабинет секретаря обкома и стукнувшая кулачком своим по столу - вот она меня сразу потрясла», - вспоминал он. А потом уже пришли и взаимопонимание, и необходимость друг в друге. Мне хочется «вразбивку», чередуя строфы некоторыми комментариями, привести большую часть баллады «Именины», посвященной Е. Морозкиной; думается, даже не очень искушенный читатель ощутит, как отличается от прежней, буйно-удалой, страстно-разгульной (иногда даже не то с «цыганскими», не то с блоковско-есенинскими реминисценциями интонаций) любовной лирики Игоря эта п е с н ь сокровенного родства двух исстрадавшихся душ:

*Было поздно или рано:
Лес и озеро затихли
Или, может, не проснулись,
Нежась в ласке голубой.
Ни ветринки, ни тумана,
А и есть они, до них ли?
Мы нашлись, к себе вернулись -
Ты да я, да мы с тобой.*

Вот-ключевые слова для понимания того, почему воедино слились пути и судьбы двух столь разных людей: «Мы нашли, к себе вернулись...» Это было действительно так: каждый из них двоих обрел не только друг друга, но и в чем-то главном - себя и ст и н н о го, сердцевину свою, без наслоений прежних лет... Внешне-то у Игоря Григорьева, не считая его передраг из-за вышеупомянутой клеветнической кампании, было все в порядке: достаточно регулярно выходили книги и в столице, и в Питере, к нему часто наезжали в гости его прославленные друзья-приятели - Федор Абрамов, Владислав Шошин, ленинградский ученый Петр Выходцев, московские поэты Сергей Поликарпов, Владимир Фирсов, известные художники и мастера других искусств. (Что тоже вызывало кое у кого из псковского руководства - и партийного, и литературного - весьма не добрые эмоции: как же так, нет, чтоб сначала «отметиться» в писательской организации и сделать поклон в Доме Советов - нет, маститый гость города напрямиком к «опальному» Григорьеву...) Вместе с гостеприимным хозяином ехали на озеро или в какую-либо заповедную глушь Псковщины. Охота, рыбалка, дружеские посиделки у костра, разговоры по душам и начистоту-меж равными Мастерами! Но... гости уезжали, а Игорь оставался - нет, не в одиночестве: к тому времени уже немало было у него в Пскове младших друзей-товарищей, но, говоря, понятие Дом в его жизни отсутствовало. С приходом Морозкиной в его жизнь оно появилось, возродилось. И его бытовая стезя, и его творческое бытие, и его духовная жизнь вошли в надежное русло. До конца своих дней он уже не ощущал одиночества, прежде столь часто терзавшего его...

*...Все-то - песни даровые,
Всё желанное - возможно,
Все несбывшееся - рядом:
Не солжет вещунья-тишь.
Ты в глуши моей впервые.
Дышит лес. Тебе тревожно.
Ты, как верба листопадом,
Оробело шелестишь:*

(не правда ли, здесь филигранная отделка строк, эпическая ритмика хореев и непривычно изысканная для Григорьева форма строфики - все дышит высокой зрелостью духовной, - нет, не надмирной отстраненностью от страстей мира людского, но действительно философски-мудрым отношением к жизни - к любви, к душе любимой женщины...)

*- Чья душа, изнемогая,
Остается так невинна?
Кто так ясно выражает
Несказанные слова?
- Ты не бойся, дорогая,
Это ночи половина,
Это лето провожает
Беспечальная сова.*

Птица мудрости поселилась в судьбе Поэта...

3.

НЕГАСИМАЯ ВЬЮГА



...Разумеется, спокойной в обычном понимании этого слова жизнь у Игоря Григорьева не стала ни в 80-е, ни тем паче в 90-е, последние его годы. И не только потому, что у истинного поэта спокойной жизни по определению быть не может (и по блоковскому определению, и по предопределению Свыше, откуда ему и вручен его дар творческий). Он ведь жил жизнью гражданской, переживая все, что творилось в его городе, в родном краю, наконец - в государстве, где дела на всех уровнях год от года шли враскосяк... Не говоря уже о том, что его, бывшего когда-то одним из «отцов-основателей» (вместе с И.С. Густовым) местной писательской организации, не могло не волновать происходящее в ней. А это «происходящее» мало его радовало. Художественное бытие «задорного цеха» (так некогда Пушкин в «Евгение Онегине» окрестил сообщество пишущих людей) год от году теряло не только задор, но и главный смысл, во имя которого должны объединяться литераторы. Сей смысл подменялся «функционерством», имитацией творческого процесса. И это впрямую касалось Игоря Григорьева, по-прежнему непримиримого ко всякой фальши. Тем более, что эта фальшь отравляла жизнь самым близким ему писателям-землякам.

...Не хочется мне сейчас называть имена-фамилии тех чиновников от литературы, из-за которых поэт-партизан почти 15 лет не появлялся в стенах некогда родной ему писательской организации. Одних из них уже более чем достаточно наказала сама жизнь, а кое-кого уже и нет в живых. Но вред развитию литературы на Псковщине ими действительно был нанесен немалый. Талантливым поэтам и прозаикам либо вообще под тем или иным предлогом

отказывалось в приеме в Союз писателей - либо их долгими годами «держали у порога». Так, Игорь Николаевич уже в конце 80-х, после многих безуспешных попыток «на местном уровне», был вынужден написать письмо в руководство СП, суля выйти из его рядов, если не будет в Пскове начато дело о приеме в писательскую организацию Александра Гусева. Подействовало! - но «резину тянул» тогдашний ответсек еще почти лет 5. Потрясен поэт был и тем, что опять-таки на местном уровне было отказано в приеме известнейшему литературоведу-пушкинисту Виктору Русакову... Но больнее всего он переживал то, как издевательски в этом плане обошлись с Еленой Морозкиной. Тут, как говорится, все сошлось одно к одному: и месть литчинуш лично ему, Григорьеву, и мелкая, злобная зависть малоодаренных людей к талантливейшему ученому, замечательной художнице, которая, «видите ли, мало ей славы, так она еще и стихами балуется!» А стихи Елены Николаевны стали появляться в центральной печати еще в 50-е годы; в 70-е же (конечно, здесь не обошлось без умелого, строгого и тактичного наставничества со стороны Игоря Николаевича) она уже была зрелой и сильной поэтессой. Но - тоже «отлуп», вначале - «не псковичка по прописке», потом, когда был отменен сей неразумный «ценз» - просто потому, что надо было местным партийным и литературным функционерам покуражиться, показать, «кто в доме хозяин»... Так что недалек от истины был Лев Маляков, в мемуарном очерке о своем друге-партизане сказавший, что «негласный, но настоящий писательский союз существовал на дому у Григорьева и Морозкиной». Точней сказать, то был настоящий клубтвор-

ческих людей, где постоянно «клубилась» и художественная молодежь, и просто любители настоящей литературы... Короче, Игорь Григорьев не приходил в местное отделение СП России вплоть до 1995 года - почему именно до этого года, объясню чуть ниже.

...Потрясения, произошедшие сдержавой в начале 90-х, ударили поэта-партизана в самое сердце. Невыносимо было ему видеть, как «перестройщики» издеваются над ветеранами Великой Отечественной: дескать, воевали против Гитлера, но Сталин был ничуть его не лучше - стало быть, зря воевали! Как личную лютую боль воспринял он развал союзной державы, и, не стесняясь, называл новый «демократический» режим «власовским». И дело тут не только в «триколоре» было: ужасался ветеран тому, как те, кто еще вчера его чуть ли не в «антисоветчине» обвинял, в мгновение ока стали певцами, апологетами и деятелями «рыночного строя». Он, действительно столько неприятностей претерпевший из-за своих критических стрел в адрес партийно-советской и литературной бюрократии, остался ярким сторонником того Знамени, той Державы, за которые он юношей воевал и проливал кровь. И потому в стихах 90-х лет он резко отделил себя от «переиначившихся»:

*Хоть Россия жульем обокрадена,
Хоть и сам я нагой и босой,
Все - не трутень, не сволочь, не гадина -
Сын, омытый твоею слезой.*

Не случайно последняя прижизненная книга Игоря Григорьева носит краткое, но точнейшим образом выражающее его настрой «новых лет» название - «Боль»...

Последующая страница будет едва ли не самой трудной для автора этого очерка, ибо в ней мне придется рассказать не только об одном из самых переломных моментов моей личной судьбы, но и о том, какую роль в этом переломе сыграл мой старший товарищ по перу и земляк. Следовательно - сказать о его истинном отношении ко мне. Поверьте, дорогой читатель, не стал бы я сего делать хотя бы действительно в силу своей псковской скромной натуры - если б этот эпизод не раскрывал бы сущностную грань псковской же натуры моего героя...

В 1995 году мне пришлось резко поменять все мои жизненные планы. Тогда я работал председателем Московского литературного фонда: должность «тягловая», связанная прежде всего с социально-правовой защитой писателей (совершенно лишенных «демократической властью» этой защиты). Но - втянулся и кое-что (разумеется, совместно с опытными коллегами) удалось сделать на этой каменистой ниве. К тому же нежданно возникла реальная перспектива некоторое время поработать преподавателем в одном из зарубежных университетов. Но еще более нежданно все это полетело в тартарары... К тому времени во Пскове, после смерти моей мамы, остался совершенно одиноким и ввалившимся в полную немоту мой отец. Обстоятельства, связанные как с особенностями характера этого, самого родного мне человека, сельского учителя и ветерана войны, так и с некоторыми житейскими причинами, складывались так, что перевезти его в Москву не было просто никакой возможности (да если и была бы, этот житель русской глубинки истаял бы в сумасшедшем мегаполисе самое большое за месяц: примеров таких я знал немало)... Словом, пришлось мне

половину моей литфондовой нагрузки передать моему заму, перейти «на полставки»-стем, чтобы недели две-три в месяц жить в родном городе, обихаживая отца, а дней десять ежемесячно все-таки проводить в Москве. Режим предстоял напряженный, но мне, тогда еще только-только приближавшемуся к пятидесяти, думалось, что справлюсь, выдержу... И вдруг-звонок от Игоря: «Станислав, заглянул бы ты ко мне, есть разговор!»

...Конечно же, заглянул, а у него и Морозкиной в доме - чуть не половина местной писательской организации. И хозяин дома с ходу, «от лица товарищей», без всяких предисловий буквально «навалился» на меня: мы считаем, что ты должен возглавить Псковское отделение Союза писателей! Поначалу я просто остолбенел, а когда пришел в себя, начал резкую отповедь: да в уме ли вы, ребята?! И без того у меня нагрузка будь здоров, дай Бог мне с обихаживанием отца справиться, да еще и в столицу мотаться надо будет; и неужели никто из вас не сможет на себя эту ношу принять, зачем вам «варяг» нужен? Тут-то Игорь и рявкнул своим командирским басом:

«Во-первых, ты не «варяг», мы тебя как облупленного знаем - ты наш, скобарь! Но не в происхождении твоем дело: благодаря тебе, твоей работе в Приемной комиссии и в Правлении СП половина нынешнего состава нашей организации членские билеты получили, а скольким ты книги в Москве помог издать, а уж про скольких ты в статьях-рецензиях своих писал, славу рокотал землякам! А беда-то в том, что организации у нас фактически уже лет 5 просто нет: вокруг ответсека пять-шесть его верных джигитов-портфеленосцев кучкуются - и все! Остальные - за бортом! И 5 лет уже как ни

одной книги ни у кого здесь не вышло, разве что сам он, «глава» наш, себе любимому томик издал за губернаторские деньги. Словом, мы хотим, чтобы ты - именно ты! - нас возглавил. Иначе-поверь мне, Станислав, организация просто исчезнет, развалится! Пойми, не за себя горюю: 22 книги у меня на счету, будет с меня - а вот за ребят, за «новобранцев» наших талантливых - обидно...»

И немало еще в тот вечер хозяин дома и его гости (мои давние товарищи-земляки) высказывали как добрых слов в мой адрес, так и весомых аргументов в пользу их мнения. И тем не менее я ответил твердым и искренним «нет!». Тогда Григорьев уже негромко, но твердо молвил следующее: «Ладно, решай, как хочешь. Но уважь хоть вот эту мою просьбу: приди завтра на наше отчетно-выборное собрание, ты ведь имеешь на это право как секретарь Правления СП, приди!»

Не уважить эту просьбу я не мог. Пришел. И увидел, и услышал, и почувствовал то, что просто в ужас меня привело. Будь это в ином другом краю - так не ужаснулся бы. Но в своем родном городе я стал свидетелем действительно предсмертной агонии местного писательского цеха. И потому, когда Игорь Григорьев предложил мою кандидатуру для голосования - у меня уже не было моральных сил для отказа...

И началась тогда, в 1995 году, быть может, самая трудная, самая напряженная (порой - два-три часа сна в сутки), но и вдохновеннейшая, и интереснейшая, и радостная пора моей жизни...

И, убежден, она оставалась бы такой еще долго, будь с нами рядом Игорь Николаевич Григорьев.

Но он ушел из жизни в 1996 году.

Сошлось все вместе: отказавшиеся работать легкие, изболевшееся сердце, ожившие старые фронтовые раны и недуги и - как последний удар - известие о смерти Марии Васильевны, его горячо любимой матери. Он скончался буквально через час после того, как ему стало об этом ведомо.

...А потом в области наступили недобрые общественные перемены и нравственный климат местной «культурной нивы» молниеносно стал пропитываться различными миазмами. И, как следствие, вскоре начались подниматься «мутные воды» и в писательской организации. И в конце 1997 года она разделилась надвое. Но это - уже совсем иная история.

А я написал то, что вами только что прочитано, ради следующего «микро-отчета»: за те 2 года, что автор сего очерка руководил единой писательской организацией Псковщины, свет увидели 10 книг псковских прозаиков и поэтов. И читательская аудитория города и области узнала, что в нашем древнерусском краю живут и творят не один-два писателя, а, по крайней мере, два десятка одаренных литераторов. И сие познание продолжается по сегодня.

Так что, мне думается, я оправдал доверие моего старшего товарища, моего незабвенного друга, поэта-партизана и удивительно светлого человека - Игоря Николаевича Григорьева... Это-главное...

Что остается добавить в финале этой небольшой книжки?

Жизнь и творчество, а, точнее, «творческое поведение» (термин М. Пришвина) ее главного героя являло собой постоянную «перекличку» с теми, кто был ему родными по духу, по вере, по судьбе. Иногда эта перекличка перерастала в конкретную, реальную и насущную помощь людям. Так, он мог отказаться от предложенной ему 3-х комнатной квартиры (которая стала ему необходима, когда образовался их семейный союз с Морозкиной и когда из деревни он перевез к себе престарелую мать): не возьму, пока не дадите жилье поэту, у которого квартира только что сгорела... Но чаще всего эта перекличка носила поэтично-эпистолярный характер. Причем Игорь, надо сказать, особого рода духовное наслаждение находил в том, чтобы письмами поддерживать талантливых людей, даже если они были ему почти или совершенно незнакомы лично. Такой «завод» в нем жил всегда, и в еще молодые годы и в поздние...

Вот пример из давнего 1963 года. Игорь Григорьев, вырвавшийся из Ленинграда в глубинку Витебщины, пишет оттуда письмо молодому воронежскому автору, уже ставшему его учеником (и ныне хранящему верную благодарную память о своём Учителе):

«...Твои стихи меня, признаться, здорово удивили и порадовали. ...Еще много шелухи, но уже совершенно ясно чувствуется, что строчки эти написаны бесспорно поэтом, причем поэтом одарённым, мыслящим. И впредь держи так... У тебя обязательно дело пойдет. (Далее следует краткий, но очень точный и деловой комментарий к ряду строк молодого стихотворца. -С.З.) ...Бросать поэзию-даже думать не могли. Ты - поэт. Ты непременно будешь им. Обнимаю крепко. Всегда твой Игорь».

...Прошли десятилетия. Тот молодой воронежец, которого напутствовал и ободрял Игорь Григорьев, избрал профессиональную стезю правоведа, стал одним из маститых сотрудников Минюста. Но он же - Вячеслав Сысоев - сегодня является и одним из самобытнейших поэтов России. И, по его собственному признанию, от писем поэта-партизана он ощущал, «что крылья за спиной вырастают»¹. И скольким молодым одаренным литераторам Игорь Николаевич помог ощутить поэтические крылья, а скольких он «поставил на крыло»!..

А вот каким шутливо-вителиеватым (ведь к старинному другу обращается) слогом он сам благодарит своего исследователя, автора глубоких и сильных предисловий к нескольким его книгам - и, кстати, замечательного питерского поэта - Владислава Шошина:

*Песней с прозой не наспоришь,
Не налиришь нежность зыку.
Без тебя, мой светлый кореш,
Что бя пел? Под чью музыку?*

(явная гипербола, разумеется, но какая же истая благодарность без подобной - причем совершенно искренней патетики обходится...)

*Не пеняй на небылицы,
На загадки без отгадки:
С Русской Музой породниться
Можно только без оглядки.*

Вот так и был породнен лучший псковский поэт с музой - безоглядно...

¹ Пользуясь случаем, выражаю сердечную благодарность поэту Вячеславу Сысоеву за помощь в издании этой книги.

...А вот уже пример «обратной связи» в этой переключке души поэта с родными ему людьми. Причем пример тем более красноречивый, что пишет Игорю Николаевичу самый родной ему не только по духу, но и по крови человек - его сын, Григорий Григорьев. Письмо датировано августом 1984 года, отправитель тогда еще служил офицером медслужбы на Тихоокеанском флоте. Вот лишь несколько строк из этого послания:

«...Сегодня, пользуясь многотысячным расстоянием между нами, я хочу сказать отцу, что, чем дольше я живу, тем глубже начинаю понимать его стихи... В них истинная боль и крик вещей русской души! В его стихах сплав времен, их неразрывное единство... Теперь я знаю: отец прежде других, в одиночку, начал тот бой за наше будущее, о котором мы узнали лишь сейчас. Его пронзительные строки будят уснувшие сердца не в пример всевозможным усыпляющим бравурным маршам... То, что я написал - это мое глубокое убеждение. И сообщить об этом я должен был с края света, с беспредельных берегов земли Русской.

Крепко тебя целую. А ты за меня поцелуй бабушку.

Твой сын Григорий Григорьев»

...Как тут не вспомнить пушкинское: «достойный сын достойного отца». Но как тут и не сказать: дай Бог, чтобы у поэтов русских росли такие сыновья...

И еще один образец переключки меж Игорем Григорьевым и его не просто товарищем по перу, но - подлинным единоверцем по кровной сути Русской Поэзии. Этот образец мне особо дорог: он касается имени одного из самых дорогих для меня имен, относящихся к поэзии Москвы: а в столичной литературной суете обрести настоящего друга-

единомышленника всегда было делом невероятно трудным, - у меня же такой друг был, старший и надежнейший друг, изумительный поэт Сергей Иванович Поликарпов (1932-1988). Одно из его стихотворений, посвященное псковскому поэту-партизану, заканчивается так:

*Тысячелетняя Россия!
Легко ли наново расти?!*

В ответ своему московскому (рязанцу по происхождению) другу Игорь Григорьев написал стихотворение «Поэты». Оно мне сегодня представляется не просто программным - это завет для любого, кто хочет избрать своим поприщем Русское Слово. Наконец, по моему убеждению, это вообще одно из лучших и самых возвышенных произведений моего старшего псковского товарища:

*Мы воли и огня поводыри
С тревожными раскрытыми сердцами,
Всего лишь дети, ставшие отцами,
Все ждущие - который век! - зари.
Сердца грозят глухонемой ночи,
За каждый лучик жизни в них - тревога,
И кровью запекаются до срока,
Как воинов подъятые мечи.
Взлелеявшие песню, не рабы -
Единственная из наград награда!
Нам надо все и ничего не надо.
И так всегда. И нет иной судьбы.
Нас не унять ни дыбой, ни рублем,
Ни славой, ни цикуты царской чашей:
Курс - на зарю!
А смерть - бессмертье наше.
И не Поэт, кто покривит рулем.*

...Живая русская классика наших дней. Строки, достойные войти и в хрестоматии, и в самые строгие по отбору антологии русской поэзии...

Но мой очерк, пусть и краткий, был бы неполон, если бы я не привел в нем строки из еще одного письма. Это - послание Воина своему Командиру Тут нет никакой гиперболы: к Игорю Григорьеву с поздравлением в честь дня рождения и приближавшегося тогда (в середине 90-х) 50-летнего юбилея Великой Победы обратился один из его подчинённых по группе плюсских подпольщиков. Он в то время жил далеко от Псковщины, в уральском Златоусте, но счел своим прямым воинским долгом направить это послание в родной край - родному человеку. Вот оно (с небольшими сокращениями):

«С днем рождения, дорогой командир! С близким юбилеем нашей Великой Победы!

Нет, наверное, ни одного дня, когда бы я не вспоминал о тебе, о Плюссе, о наших разведчиках, ныне здравствующих и polegших за горестную Отчизну нашу.

Человеке большой буквы, Игорь Николаевич, я люблю тебя крепкой дружеской любовью. Мне очень не хватает общения с тобой. Ты научил меня, да и плюсских ратоборцев, многому:

Непримиримой борьбе со злом - как было в годы войны;
Доброму бескорыстному отношению к людям; беззаветному служению своему Отечеству;

Кровной привязанности к родимому краю... Трепетному отношению и жалости к природе, к братьям нашим меньшим, к лесам и травам - ко всему сущему;

Огромной любви к своему народу; способности противостоять бедам и переносить любые невзгоды.

Спасибо тебе за все, что сделал ты, что ты есть у нас. Береги себя, командир. Успехов тебе во всем. Бог даст - увидимся.

Любящий тебя твой разведчик старшой младшей группы подпольщиков

Николай Никифоров.

Город Златоуст, 17 августа 1994 г.»

Не довелось им больше свидеться... Но со вздохом я говорю сейчас о другом: ах, если б нынешние командиры были такими, чтобы их бывшие подчиненные через года присылали бы им подобные послания!..

Русский Воин. Русский Поэт. Русский Человек...

И самое последнее. В коллективном сборнике псковских литераторов, выпущенном к 60-летию Великой Победы, напечатаны несколько стихотворений Игоря Григорьева, которые либо не публиковались прежде (а таких осталось немало), либо в его книгах советского времени появлялись с купюрами, - в сборнике же «Опаленные войной» они напечатаны в первоизданном виде. Одно из этих стихотворений завершается так:

Еще окаянные годы

Пошлют нас в пылающий путь.

Вот мы, русские поэты, сегодня и идем этим путем. Путем пылающей вьюги, путем нашей негасимой исторической памяти. И одна из главных путеводных звезд для нас в этом пути - поэзия Игоря Николаевича Григорьева.

2006, Псков.

СОДЕРЖАНИЕ

Русский урок.....	3
Чернобыльский пепел Красухи.....	32
Негасимая вьюга.....	69

Корректор Шляхтова Т.П.
Технический редактор Качанкина Н.Ю.
Отпечатано в АНО «Логос».
180000, г. Псков, ул. Пушкина, 3/13, тел.: 2-87-97.

Гарнитура Arial Суг. Тираж 400 экз. Заказ № 267.